

БИБЛИОТЕКА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Иван Наживин



Иван Наживин
Душа Толстого

«ИТРК»

Наживин И. Ф.

Душа Толстого / И. Ф. Наживин — «ИТРК»,

Мир Толстого как мир гения – велик и неповторим, судьба его – загадка, и видный писатель Русского Зарубежья Иван Наживин помогает нам приоткрыть над ней завесу. Автор биографического романа, будучи близко знаком со своим героем, трепетно воссоздает непрерывные мучительные поиски им Истины – смысла жизни... В этом и видится современное звучание «Неопалимой купины». Книга издается к 175-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

© Наживин И. Ф.

© ИТРК

Содержание

Озаренный яснополянским светом	5
I	6
II	9
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА[2]	12
ПРЕДИСЛОВИЕ	12
I	14
II	21
III	26
IV	33
V	39
VI	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Иван Наживин

Душа Толстого. Неопалимая купина

Роман

Озаренный яснополянским светом

Необычайно богата событиями, творческими взлетами и падениями, крутыми, иногда трагическими поворотами жизнь и писательская судьба Ивана Федоровича Наживина. На его долю выпали и нарастание революционных событий в России начала XX века, и мучительные поиски им, русским интеллигентом, своего места на изломе времен. И горькие годы эмиграции, где он написал основные художественные произведения, испытал душевные и материальные потрясения, нищету и, наконец, нашел последний приют в безымянной могиле для бедняков...

Как-то в годы молодости, после очередной встречи с Л. Н. Толстым, Наживин записал в дневнике: «И я знаю, что я не один, тысячи и тысячи людей находят в этом светлом яснополянском ключе силу и бодрость...» Но не только это: Лев Николаевич своими жертвенными, никогда не прекращающимися нравственными терзаниями, поисками Истины, Смысла жизни вдохновил на то же и Наживина. И какой этап его биографии мы ни взяли бы, это очевидно: в образе жизни и труда, в исторических романах, в ревностном сохранении самобытности и самостоятельности – вне рамок всякой партийности – во всем чувствуется влияние великого Учителя.

На одном эмигрантском собрании в Льеже кто-то из присутствовавших, когда речь зашла о Наживине, воскликнул:

– Да черт его знает, как к нему относиться: не то он монархист, не то большевик!..

И вдруг встает молодой человек и говорит:

– Господа, Наживин мне ни брат, ни сват. Я даже не знаю его лично. Но я читаю его. Он ни монархист, ни большевик, он просто Наживин, человек независимый...

Именно эта черта – независимость, нежелание «идти в холопы к разным столпам общества потому, что они свободу слова признают только для себя», – вызывала наибольшее осуждение «элиты» эмигрантских кругов, против него накапливалась злоба и у правых, и у левых.

По сему поводу один острослов сделал, на первый взгляд, парадоксальный вывод: «Вот, говорят, немыслимо объединить российскую эмиграцию – Наживин достиг этого с величайшим успехом: он объединил всех на ненависти к себе...»

I

Иван Федорович Наживин родился 25 августа 1874 года в деревне Пантюки Владимирской губернии. Мать – из крепостных, отец – государственный крестьянин – благодаря природному уму, предприимчивости, энергии и трудолюбию стал состоятельным человеком, разбогатев на строительных подрядах: возводил большие дома в Москве, прокладывал железные дороги на Юго-Востоке России. После смерти жены Фёдор Наживин отправил детей к бабушке Марфе, в деревню Буланово. Пятилетний Ваня впервые окунулся в мир русской природы и суровой деревенской трудовой жизни; уже в этом возрасте, как Наживин писал в «Автобиографии» (1939 год, к этому документу мы еще будем возвращаться), «босоногий карапуз, загорелый, как подосиновик, таскал снопы в крестцы, перебивал валы на покосе, ездил в лес за дровами, пас деревенское стадо, ощущая при всем этом безмерную радость...»

Затем – Москва, учеба. Четыре класса Иван закончил без особых успехов, разве только учитель словесности зачитывал его сочинения всему классу и оценивал «пятёрками». В дальнейшем Наживин продолжал своё образование самостоятельно и, будучи за границей, поступил в Новый университет в Брюсселе, вскоре его покинул, ушёл оттуда в «огромную аудиторию Жизни»... Когда Л. Н. Толстой узнал, что его молодой друг «ничего не закончил» (речь шла о высшем учебном заведении), то неожиданно воскликнул: «Ну, я так и думал! У вас живой, незасорённый ум, это теперь такая редкость»...

После школы отец начал приучать сына к «делу»: работа на лесных складах, управление домами, участие в торговых сделках на ярмарках. Однако такое, вполне объяснимое, желание подготовить себе достойного наследника вскоре с треском провалилось: в семнадцать лет у Ивана всё закончилось «взрывом самой чёрной неврастении». И отец, светлая голова, предоставил своему способному сыну полную свободу, отпустил за границу, обеспечив материально. Там – прежде всего в Мекке тогдашней русской молодежи Швейцарии, а затем в Австрии, Франции, Италии, Бельгии – Наживин прожил семь лет. Он жадно вбирал новые впечатления, изучал языки и, как во все последующие годы, много читал: классику, произведения современных писателей, научные труды философов, теологов, историков, психологов. Начал писать и печататься – первые опубликованные рассказы «Агапыч» и «За глушаками» (1893 г.).

Неожиданная встреча с «Воскресением» произвела бурный и стремительный переворот в мировоззрении Наживина: он сразу и бесповоротно, не только умом, но и сердцем воспринял идеи Л. Н. Толстого, что имело решающее значение и для творчества, и для всей его жизни. В предреволюционные годы И. Наживин много пишет – публицистические статьи и очерки, рассказы, повести, романы. До 1917 года опубликованы десятки книг, шесть томов Собрания сочинений, его имя уже «довольно видное в нашей литературе» (А. М. Горький).

Возвратившись в Россию, Наживин чужд литературных салонов и обществ, он верен отшельническому образу жизни: на хуторе сам ведет хозяйство, подобно своему кумиру, не гнушается черновой и неприятной работы. Здесь он попутно решает одну из важнейших задач человеческой жизни – доводит свой рабочий день до 16-17-ти часов в сутки, нисколько этим не тяготясь и радуясь чередованию умственного и физического труда.

Революция и гражданская война предъявили Наживину жесткий выбор. Ему пришлось нелегко, хотя грозные дни он встретил не в помещичьей усадьбе, а в старой дедовской крестьянской избе. И, когда интеллигентские грезы о мирном исходе революции не сбылись, когда тщетные призывы к богатым «поделись!» обернулись иным – «грабь награбленное!», когда страна захлебнулась в крови и братоубийстве, Наживин принял решение (заметим, что его семья не пострадала, ему, как известному писателю, Совнарком выдал охранную грамоту) – встал на сторону белых. Он служил в Добровольческой армии, писал статьи, листовки. «Однако, если и было что в моем деле полезного, – вспоминал Наживин в „Автобиографии“, –

то это только мое решительное твердое заступничество за пленных красных: сперва их расстреливали на месте. Деникин отменил отвратительный приказ Главного командования, и я таким образом способствовал спасению многих и многих жизней...»

В эмиграции ему суждено было скитаться по Европе, добывать кусок хлеба для семьи из шести человек, что и удавалось благодаря потрясающему по напряжению писательскому труду. «Я работал как сумасшедший», – скажет он позже. За двадцать лет им написаны десятки новых романов, они публиковались отдельными изданиями, входили в собрания сочинений (40 томов). Подводя итоги собственного творческого пути, Наживин, со свойственной ему самоиронией, не упустил случая сострить: «Я должен только поклониться большевикам: не возьми они меня за шиворот, я, вероятно, в московском уюте так и остался бы при маленьких рассказчиках...». Книги его издавались не только на русском, но и на немецком, английском, французском, голландском, чешском, финском, шведском языках.

Близкое знакомство с Западом не вызвало у Наживина эйфории, напротив, он не устал повторять, что потерял всякую веру в политические и социальные реформы и, в частности, в реформаторов: «Режим египетских фараонов ничуть не лучше режима современной „великой заокеанской демократии“ с ее гангстерами и особенно банкерами, то есть гигантскими и безнаказанными акулами-финансистами». Экономическая депрессия начала 30-х годов подкосила миллионы людей, и Наживин тоже очутился в стане безработных. Но дело не только в кризисе экономики, он это осознает и пишет: «Торжествующая демократия засыпает миллионами полуголых и совсем голых кинозвезд, боксеров, футболистов, автомобилистов и идиотских „мисс красоты“ – точнее, наглости и бесстыдства. Серьезная книга гибнет везде. Верх берет сыщичкий роман, которым упивается демократия, или роман похабный...»

Как пронзительно актуально все это и сегодня, в начале XXI века!

А жизнь наносила удар за ударом, Наживин падал и поднимался вновь и вновь. Иногда выручал случай: в 1935 году от издательства «Серебреников и К°» из далекого Таныцинга пришло письмо с предложением выпустить его Собрание сочинений для русской эмигрантской колонии в Китае. Вскоре начали выходить том за томом. Но это было лишь единственное светлое пятно на мрачном фоне.

А в конце тридцатых годов, оглядываясь на пройденный в литературе путь, Наживин мог с чистой совестью сказать: его ум всегда был занят серьезными вещами. И выводит ключевую формулу-самооценку, которую вряд ли кто-либо сможет оспорить: «Я не нахожу лучшего слова для выражения основной идеи моих писаний как ОСВОБОЖДЕНИЕ – постепенное освобождение мое от всяких цепей и воскресение в полной свободе».

До конца дней своих И. Ф. Наживин оставался государственным и потому так страстно призывал любить Россию – «Россию русскую, ибо если ее не будет русской, то ее вообще не будет, а будет только огромная куча „демократического навоза“. Он яростно отвергал всякое иностранное вмешательство в дела России и „тех наших кретинов (эмигрантов – В. Х.), которые ставят то на поляков, то на немцев, то на японцев“, считал этих „кретинов“ изменниками и мерзавцами.

Он пристально вглядывался в то, что происходило на Родине, и, может быть, одним из первых почувствовал назревающий поворот советского руководства к истории и вековым традициям русского народа, к идее Отечества – сильного, неуязвимого для внешнего врага. Наживин радуется тому, что в России покончили с частным землевладением. Приветствует отделение церкви от государства. Хотя и очень осторожно, но поддерживает социальные перемены в обществе: «Я знаю, что Царством Небесным эта Новая Россия не будет, но, может быть, удастся все же... закрепить подлинные, хотя и несколько не планетарные завоевания...» Такое довольно неожиданное признание кое-кто и в наше время называет «причудливым сменевеховством». А на самом деле за этим признанием Наживина – трезвый анализ, критическое переосмысление произошедшего в России, взгляд в будущее. И потом: в своем, с позволения

сказать, «сменовеховстве» он был совсем не одинок. Яростный противник советского строя, русский философ Н. А. Бердяев примерно в то же время назвал себя «аристократическим мыслителем, признавшим правду социализма». «Не о хлебе едином жив будет человек, – писал он, – но также и о хлебе, и хлеб должен быть для всех... Коммунизм есть великое поучение для христиан...».

Наживин не только пересмотрел свои взгляды, но и опубликовал «Обращение к Иосифу Сталину», которое завершается прорвавшимися от истомившегося по родной земле сердца строками: «Я желал бы самой широкой амнистии для эмигрантов, которые готовы присягнуть на верность Новой России... Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, пустить меня домой. Сил осталось уже немного, но все их отдам на служение Родине...»

Но, увы, письмо осталось без ответа. Он мечтает, чтобы похоронили его в Пантюках, на Оленьей горе, от самого названия которой веет древностью... Иван Федорович Наживин умер 5 апреля 1940 года в Брюсселе. Место захоронения неизвестно.

II

Наживин – один из немногих ярких продолжателей традиций критического реализма могучей русской литературы XIX века. Совсем не случайно видные зарубежные писатели сравнивали его с Н. В. Гоголем, И. С. Тургеневым, Н. С. Лесковым, хотя сам Наживин не принимал всерьез подобных оценок, считая их просто «эмоциональными». И это верно. Но верно и то, что Наживину-художнику присущи точность и правдивость в отображении жизни, нравственная чистота, редкая наблюдательность и экономность изобразительных средств, пластичность образов, родниковый русский язык. Его книги – захватывающее дух чтение, философское осмысление бытия и любовно трепетное описание русской природы.

В первый период творчества И. Наживин находился в поиске своей ниши в литературном процессе, своего стиля. В рассказах и очерках, в романе «Менэ... Тэкэл... Фарес» он рассматривает острейшие социально-экономические и нравственные проблемы предреволюционной России: бедствия и массовый исход крестьян в города, каторжный труд поденщиков-грузчиков, вообще рабочих на фабриках и заводах, нарастание протеста против самодержавия в народе и в среде интеллигенции, студенчества. Л. Н. Толстой, прочитав роман, тут же отправил письмо автору: «Скажу только, что желал бы, чтобы его побольше людей читало... Мне было особенно интересно, потому что я читал в романе вашу душу, которую я люблю»...

Среди научно-публицистических работ И. Наживина тех лет выделяется книга «Голоса народов», в которой, исследуя «светлые ключи» религиозной жизни всех времен и народов, он пытается определить нечто общее, объединяющее всех (Лао-цзы и Будду, Зороастра и египетских мудрецов, Моисея и Христа): «Любовь есть закон жизни, и исполнение этого закона дает человеку бесконечную радость, ничем не отъемлемое благо и, сливая его в любви со всем сущим и с источником всего сущего, Богом, в одно, делает его жизнь вечной...»

Самыми плодотворными для Наживина оказались двадцатые и первая половина тридцатых годов – именно тогда написаны его лучшие произведения в жанре исторического романа. Цикл романов («Мужики», «Распутин», «Женщина», «Большевичка», «Собачья республика») являет собой своего рода художественную энциклопедию жизни страны эпохи революций: это и беспощадный анализ совсем близкой истории, бесконечная грусть и жгучая боль, всепонимающее сочувствие народу.

Одним из самых значительных по художественному воздействию на читателя следует признать роман «Распутин» (1923 г.), который принес автору мировую известность, так как был опубликован не только на русском, но и на пяти европейских языках. Томас Манн поздравляет Наживина: «Ваш „Распутин“ – монументальное произведение и был для меня во всех отношениях – в историческом, культурном и литературном – большим откровением». Шведская писательница, лауреат Нобелевской премии Сельма Лагерлёф в восторге: «Прочитав Вашего „Распутина“, я чувствую себя исполненной величайшего удивления пред той силой и знанием, с которыми Вы, картину за картиной, представляете русский народ. И Вам удалось достойным всякого удивления образом заставить эти картины жить».

В этом романе И. Наживин и в самом деле разворачивает широкую панораму жизни российского общества в 1910-1920-х годах, раскрывает душу русского человека. «Самое горькое, – пишет Наживин, – что в народе нашем нет теперь никаких устоев, никакой веры, у него в душе страшная пустыня, и я готов вам тысячи раз кричать: быть беде!..». Главный герой романа совсем не прост, он от природы талантливый политик и, наверное, экстрасенс, как сказали бы мы сегодня, ибо творил чудеса: тасовал правительство, менял министров, имел ничем не объяснимое влияние на императора и императрицу. Будучи злым гением разрушения, Распутин сам не мог не сокрушаться из-за подлости человеческой натуры.

Русскому народу в критические моменты его истории посвящены блестящие романы Ивана Наживина: «Глаголют стяги» (из эпохи князя Владимира Красное Солнышко); «Бес, творящий мечту» (о нашествии Батыя на Русь); «Кремль. Хроника XV–XVI вв.» (времена Ивана III), «Казаки» (Степан Разин). Писатель воссоздает исторические события через судьбы всем известных и простых людей, причем делает это с большой эпической силой. Вот, к примеру, какими сочными мазками набрасывает он портрет Степана Разина: «Рослая широкоплечая фигура атамана... Его грубое, рябое лицо с небольшой черной бородой было правильно и красиво какою-то особою степной, дикой, звериной красотой, и карие глаза смотрели строго и повелительно. Чували в нем казаки присутствие какой-то силы темной, считали его немножко ведуном, побаивались его, гордились им...»

В романе «Во дни Пушкина», как и обычно в произведениях Наживина, читателя захватывает динамичный увлекательный сюжет, масштабное историческое обозрение. Среди действующих лиц – Александр I и Николай I; Крылов, Гоголь, Жуковский и молодой гусар Лермонтов; московский любомудр Чаадаев и целая галерея декабристов; генерал Ермолов и шеф жандармов Бенкендорф, которому Николай I поручил «утирать слезы» России... Из этого объемного (в трех книгах) романа читатель узнает немало нового, а многое, уже известное, предстает в ином освещении. Необычен и наживинский Пушкин: это полнокровный образ великого поэта, патриота и в то же время – обычного земного человека. Ему отнюдь не чужды неожиданные порывы души и удивительные поступки, за которыми всегда скрывается художник, без усталости познающий жизнь во всем ее многообразии. Таков блестяще выписанный эпизод почти насильного приглашения Пушкина небезызвестным графом Ставрогиным – в своем поместье («мини-России») самого царя и Бога, которого обслуживали семнадцать лакеев, при этом каждый из них делал только что-то одно (подавал трубку, другой – стакан воды и т. д.) и у которого в нищете умирал от чахотки крепостной музыкант.

Одним из главных трудов своей жизни И. Наживин считал трилогию из истории христианства. Этот творческий замысел Л. Н. Толстой в свое время не одобрил: «трудная, почти неосуществимая задача». Но Наживин не отступился и спустя четверть века, узнав много нового о той эпохе и о человеке вообще, пишет «Евангелие от Фомы», «Иудей» и «Лилии Антиноя». В первом романе автор как бы слился с отображаемой эпохой, он живет, думает и чувствует как житель Иудеи в кипучие и беспокойные времена. Образ Иисуса Христа исполнен поэзии, красоты и человечности. Талант и воображение художника расцветают в рамках сурового реализма, а само распятие, никогда и никем ранее не описанное, потрясает неотвратимостью трагического конца... В центре повествования романа «Иудей» апостол Павел – по мнению Наживина, исказивший в своих проповедях учение Христа. И, наконец, «Лилии Антиноя» – впечатляющая картина крушения и гибели Иудеи, раздавленной Римом.

Трилогия Наживина (в особенности «Евангелие от Фомы») была встречена восторженными откликами в западной и полным замалчиванием в эмигрантской печати: отторжение независимого публициста было перенесено и на даровитого, но свободного писателя. В связи с этим любопытные сведения обнародовал Михаил Филин: ему удалось обнаружить лишь около двадцати рецензий, написанных русскими беженцами на книги И. Наживина (за 20 лет каторжного труда!), между тем только о «Распутине» в одной Германии было опубликовано более 30 отзывов.

А теперь, вслед за М. Филиным, перенесемся в наши дни и зададимся вопросом: почему соотечественники-издатели в конце 80-х и начале 90-х годов в рекордно короткие сроки сотнями тысячами, а то и миллионными и более тиражами наводнили страну книгами Е. Замятина и В. Набокова, Л. Ремизова и Г. Иванова, И. Шмелева и Д. Мережковского, а И. Наживина – «забыли»?¹ Не зеркальное ли это отражение феномена замалчивания его творчества соотече-

¹ Справедливости ради надо указать, что первый роман И. Ф. Наживина «Глаголют стяги» выпущен издательством «Совре-

ственниками-эмигрантами? Уверен, что это так: все упирается в схожую политическую конъюнктуру – идеологическая, государственническая позиция Наживина и художественная сила, с которой она выражена, никоим образом не устраивают многих – и тогда, и ныне.

Идея мощного Отечества – независимой России – ключевая в творчестве И. Ф. Наживина. Он не устал повторять, что идея патриотизма всегда питала и будет питать русскую литературу, что «в детском и юношеском воспитании на первое место мы должны выдвинуть не тех, кто ловчее освистывает Россию, а тех, кто, раскрывая тихую красоту ее, учит нас любить ее и, цenia других, все же ставить ее, как немец свою Германию, über alles»...

В заключение – несколько слов о впервые изданной в России книге, которую вы, дорогой читатель, держите в руках. Общеизвестно, что научно-художественная биография гения русской и мировой литературы еще не написана. «Неопалимая купина» – самое значительное, психологически достоверное повествование о Л. Н. Толстом, его жизни, творчестве, поисках спасительной для человечества волшебной «зеленой палочки». В 1911 году Наживин по праву сказал о том, что на его долю выпало «редкое счастье не только узнать Льва Николаевича близко, но и получить... уголок в его сердце». И сам Наживин проник не только в глубину творений Толстого, но и «заставляет» своего героя распахнуть перед нами свое горящее, и, как неопалимая купина, не сгорающее сердце.

Мир Толстого, как мир гения, – велик, неповторим и противоречив, судьба его – загадка. Наживин помогает нам приоткрыть бездны этой тайны, показывая, как пятидесятилетний, уже увенчанный славой писатель словно выпрямился во весь рост, осмотрелся и увидел все его окружающее по-новому. Отчего жизнь устроена так, что одни купаются в роскоши и богатстве, а другие гибнут в нищете, голоде и холоде? Что делать? Толстой находит выход в главном – в любви, доброте, самосовершенствовании. Вот эта заповедь нам: «... Любить дальних, человечество, народ, желать им добра дело нехитрое... Нет, ты вот ближних-то, ближних полюбить сумей, тех, с которыми встречаешься каждый день, – вот их-то люби, им-то делай добро!». И со многих страниц романа предстает Толстой-добротворец, решительно выступавший против социального неравенства в обществе, жестко требующий от правительства в годы поразившего Россию голода (1891, 1893, 1898 гг.) принятия мер для спасения людей. Он сам помогает крестьянам бедствующих губерний, сам ездит по умирающим деревням и устраивает на свои средства бесплатные столовые для крестьян.

Какой контраст с рассказами нынешних либерал-демократов о якобы благоденствующей – с полными закромами пшеницы – дореволюционной России!..

Книга, написанная к 100-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (опубликована сразу же на русском, шведском и финском языках), остро современна и сегодня, спустя три четверти века. В ней мы находим ответ на вопрос: в чем смысл жизни? Нет сомнения, каждый читатель даст свою версию. А, может, еще раз обратимся за советом к самому Льву Николаевичу?

За полгода до своего ухода в вечность он так писал ученикам Екатеринбургского горного училища: «О том же, придет ли время, когда не будет бедных и поедающих их труды богатых? Ни я, никто знать не может. Но зато и я знаю, и всякий может знать, что главный смысл жизни каждого из нас в том, чтобы содействовать своей жизнью приближению этого времени...»

В. Хелемендик,

доктор исторических наук, член-корр. Российской академии образования.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА²

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лет пятнадцать моей жизни прошли под знаком Толстого. Почти десять лет я был лично близок к нему, видел его жизнь, видел его душу, то светлую, то бурно мятущуюся и всегда взволнованную жизнью. И мне хочется рассказать о нем, об этом трагическом строителе все нестроющейся веси Господней...

Я знаю мало честно, правдиво написанных биографий. Мы не можем писать биографии иначе как розовыми красками. Этот обман очень наивен. Мы не дети, и пора бы нам перестать тешиться этими историческими погремушками. Может быть, это желание преклониться, отдохнуть душой на избраннике Судьбы и понятно, но все же это подделка, и избранник наш из раскрашенного папье-маше, а ореол над головой его – из золотой бумаги, которая идет на обертку конфет для детей. Этот иконостас наших знаменитостей, блестящий фольгой и поддельными драгоценными камнями, только утомителен и нисколько не красив.

Чем подражать так богомазам, лучше не писать биографий совсем, лучше сделать так, чтобы вся земная жизнь героя, вся до последней черточка, стерлась бы как-нибудь из памяти людей, а осталось бы только то, чем он стал дорог людям, только чистое золото его души и его жизни. Мне нет надобности знать, в какой консерватории был профессором Чайковский или где читал лекции Кант, с кем он поссорился, с кем помирился, в каком ресторане обедал, – с меня достаточно тех звуков или тех мыслей, которые эти чародеи оставили после себя, тех сладких чар, которыми они опутали нашу бедную жизнь. Пусть сам он, как далекая звезда, уже давно сгорел, но пусть еще долго рдеет и переливается на небе жизни его чистый, серебристый свет. Пройти по земле и не оставить после себя ни дыма костров, ни крови битв, ни спичей по ресторанам, а только вот эти солнца-мысли, только вот эти рои чистых и сладких звуков – какая это красота, какое счастье!.. А если уж нам хочется иметь всю его жизнь, в подробностях, то надо дать нам его не как икону условного письма, не как какие-то мощи, а надо дать действительно всю его жизнь, подлинную, живую, надо дать не только преображенный на горе Фаворе славы лик великого, не только его ослепительное вознесение над серыми толпами человечества, – надо дать и его муку, и сомнения в Гефсиманском саду, надо дать его тяжкий, пыльный крестный путь, надо дать его крик отчаяния на Голгофе...

Сам Толстой всегда горячо восставал против старой римской поговорки, что о мертвых надо говорить или хорошо, или совсем ничего не говорить. Он настойчиво повторял, что о живых надо говорить только хорошее или молчать, – чтобы не сделать им больно, – но о мертвых, которым уже все равно, не только можно, но должно говорить все, чтобы на примере их, на правде их жизни мы могли хоть чему-нибудь научиться. И я считаю, что оскорбил бы память великого правдолюбца, если бы – как это делали почти все, писавшие о нем, – сделал бы из него икону. Как никто, он ненавидел условности и всякую ложь, и потому напрасно шаркиваются перед его памятью биографы, напрасно на каждой странице пытаются выдать они ему похвальный лист. Он сам пытался было писать автобиографию, но с первых же шагов наткнулся на большие трудности...

Любимым стихотворением Льва Николаевича было знаменитое «Воспоминание» А. С. Пушкина:

² В России роман публикуется впервые. Редакцией сделаны незначительные сокращения.

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

И только одно слово хотел бы Толстой изменить в этом стихотворении: в последней строчке вместо «печальных» он хотел бы поставить «постыдных». И мы не смеем делать вид, что страшные строки этих признаний только известного рода кокетство. Из уважения к нему мы должны сказать себе: увы, это – правда...

Но как ни черен, как ни резок этот штрих, проведенный по своему портрету Толстым, все же один он не в силах оживить этого портрета, и на «строках печальных» его жизни нам придется остановиться не раз, чтобы дать живого, подлинного человека. С Толстым это особенно трудно: из великих писателей он самый, может быть, автобиографичный, но и самый порывистый, а потому и чрезвычайно противоречивый. Wahrheit³ у него то и дело переливается в Dichtung⁴ и Dichtung в Wahrheit, и если мы даже отбросим всякую, вполне понятную, деликатность, то и в этом случае нам будет по его писаниям трудно установить, где он начинается и где кончается. И потому совершенно неизбежно, что не все линии его облика будут одинаково ясны и определены: он многогранен и многолик, как и сама жизнь, и, как жизнь, его очень трудно, почти невозможно уловить в сети жалкого человеческого слова...

³ Die Wahrheit (нем.) – правда, истина, действительность.

⁴ Die Dichtung (нем.) – а) поэзия, б) вымысел.

I

Колыбель Толстого – это как раз та часть России, в которой лесной север незаметно переходит в степной юг. И название необъятного леса вокруг Ясной Поляны, «Засека», говорит о временах давно минувших, когда молодое еще царство московское кроваво боролось тут с хищною Степью, защищаясь от нее «засеками», то есть лесными завалами. Эти времена кажутся бог знает как далеко, но это пустынное шоссе, эти грустно поющие проволоки телеграфа с сидящими на них ласточками, эти томики Жорж Санд или Байрона, едва тлеющие по тихим «дворянским гнездам», только лак, слегка прикрывающий нашу старую бедность, нашу старую темноту, наше старое убожество. В нескольких десятках саженей от лорда Байрона, Жорж Санд и Вольтера робко прижались к черной, жирной земле крестьянские хатки под соломенными кровлями, с земляным полом, темные, жалкие, смрадные, в которых люди жмутся в одну кучу с ягнятами, поросятами, телятами. И так же они темны и беспомощны, эти рабы, как и их предки триста-четырееста лет тому назад, когда эти места были еще «диким полем», в котором рыскали хищники, татаро-монголы. Так же живет на грязном, убогом дворе мужика древний домовый, так же шумит по лесам безбрежным леший, так же плещет лунными ночами в омуты Воронки толпа светлых русалок. Время точно не движется в этих полях, точно застыла тут в светлом, немного печальном сне история, и сладко берет за душу тихая грусть этих пустынных полей. Прогремит изредка телегой мужик, прольется жалейка пастуха, прошумит дождь весенний, проплачет выюга, но здесь это не звуки, а только особый, милый вид тишины...

И не надо преувеличивать значения пожелтевших томиков Вольтера, Санд, Байрона. Те, кто их лениво читает, – редкое исключение. Большинство же обитателей этих красивых «дворянских гнезд» все же отличается от окружающего их со всех сторон крестьянского моря. Если мужик, разиня рот, глядит на таинственную телеграфную проволоку и уверяет всех, что она протянута только для того, чтобы пустить по ней из Петербурга по всей деревенской России желанную «волю», то любимая тетушка Толстого, Татьяна Александровна, едучи с ним куда-то в карете, спрашивает его:

– Mon cher Léon,⁵ как же это пишут письма по телеграфу?

Племянник усердно объясняет ей устройство телеграфа.

– Oui, oui, je comprends, mon cher!..⁶ – ласково говорит тетушка, а чрез полчаса недоумевает опять: – Как же это так, mon cher Léon? Целые полчаса вот слежу я за проволокой, а не видала ни одного письма, пробежавшего по телеграфу...

Дни, и месяцы, и годы этой сонной, немножко безалаберной жизни шли пестрой, торжественной чередой, в которой было много прелести, и всем казалось, что так было всегда и так всегда будет. Золотой осенью носились по этим полям и лесам шумные, дикие охоты и плакали рога в чуткой тишине лесов, и потрясала сердца несравненная музыка доброй стаи гончих, и бешено неслись на конях охотники, и весело шумели живописные толпы их на привалах. Незаметно подбиралась белая, тихая зима, а с нею веселые святки: полет троек железною ночью, визг полозьев, крики и хохот ряженных, в пестрой толпе которых – истинно русская черта – часто смешивались в общем радостном весельи родовитые аристократы со своими дворовыми рабами. На масляной для всех обязательны были жирные блины и добрая выпивка: то старая Русь праздновала возвращение языческого Солнца и красавицы-весны. За масляной идет торжественный Великий пост с его тишиной, и изумительными молитвами, и унывым перезвоном. И вдруг в глубокую полночь, среди талых полей, загораются бесчисленные огни Святой

⁵ Мой дорогой Леон (франц.)

⁶ Да, да, я понимаю, мой дорогой (франц.)

ночи, и по всей безбрежной шири русской земли льется радостный красный звон колоколов, и все, все, все, без единого исключения, князя, генерал-аншефы, мужики, вольтерьянцы, старые бабы, псары и воздушные барышни обмениваются радостными поцелуями: в эту вешнюю, таинственную, полную звезд ночь воскрес Христос. Все сердца и вся земля расцветают в пышности необыкновенной и победно идет солнечными полями и зелено-шумными лесами древний Ярило, и радостно встречает его вся земля в блеске Троицына дня, под звон колоколов, с душистыми березками, с яркими лентами. В жуткую ночь под Ивана Купалу смельчаки ищут по темным оврагам цветущий папоротник, а люди менее смелые обмирают, слушая рассказы о таких подвигах. В Ильин день все обязательно перестают купаться: грех. На первый Спас все разговляются душистым медом, а на Ивана Постного – яблоками и арбузами. Поля затихают под первыми утренниками, над землей прощально и нарядно трубят журавли, и снова собираются в отъездное поле шумные, дикие, красивые охоты...

И вот среди этой насквозь русской – несмотря на лорда Байрона и Вольтера – обстановки, в богатом поместье Ясная Поляна и родился 28 августа 1828 года здоровый мальчуган, которого окрестили Львом, и широким, теплым, проникновенным анданте началась необыкновенная патетическая симфония этой почти безбрежной жизни, которая такой горячей страницей вошла в историю не только России, но и всего человечества...

И с первых же шагов в его жизнь мы встречаем изумительный факт: его воспоминания о первом годе своей жизни, о том, что переживал тогда, когда не мог выговорить еще ни единого слова. Вот как рассказывает он об этом:

«Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мной стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них, они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руки или это пеленали меня уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи, собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страданье, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому все нужно, я слаб, а они сильны.

Другое воспоминание радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный запах кислый какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую, парную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками...»

Может быть, мы имеем право предположить, что этого не было ни во сне, ни наяву, а что в этом смутном «воспоминании», как его пеленали, мы имеем дело с его удивительной способностью переноситься в положение или в душу того, кого он описывает. Одна молодая женщина говорила мне, как ее поражала точность его изображения чувств кормящей матери, Наташи: «ну, точно вот он сам выкормил всех своих детей грудью...» И разве, читая о переживаниях красавицы Фру-Фру на царскосельских скачках, не кажется нам, удивленным, что он, Толстой, точно сам лошадю был, точно сам брал все эти канавы и заборы? Но так ли, эдак ли, этот его рассказ о чувствах, которые он испытывал, когда его пеленали, чрезвычайно характерен для него и символичен для всей его жизни: уже года отроду он начал бунтовать против пеле-

нок, которыми опутана вся жизнь человеческая от колыбели до могилы, выпрастывать руки и кричать. И вся его горячая проповедь, которую не уместить и в пятьдесят убористых томов, не сводится ли она, в конце концов, к этим немногим словам: «им кажется, что это нужно, чтобы я был связан, тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком...»

И, рассказав об этих своих первых, смутных воспоминаниях, какими не может похвалиться, кажется, еще никто, Толстой, со свойственной ему манерой неудержимо проникать в глубины жизни, сопровождает их следующим интересным замечанием, которое так для него характерно:

«Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, четырех лет, в то время, когда я кормился грудью, меня отняли от груди, я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного воспоминания, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выражимых словами? Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 1/100 того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние. От зародыша до новорожденного – пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них».

Я опускаю здесь те его первые воспоминания, – «Еремеевна», игра в Милашки и прочее, – которые в той или иной форме свойственны всем детям, в которых нет ничего собственно-толстовского, и остановлюсь на тех людях, которые окружали его первые годы.

Прежде всего, это была бабушка, о которой Толстой рассказывает так: «Бабушка Пелагея Николаевна была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Ник. Иван. Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная – она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная – сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном – женщиной...»

Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное – доверчивый. В имении его Белевского уезда Полянах, – не Ясной Поляне, но Полянах, – шло долго не переставшее пиршество, театры, балы, обеды, катанья, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и займы, и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупам – кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани. Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему, но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения...

После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

Отца бабушка страстно любила и нас, внуков, забавляясь нами, любила тетюшек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой, она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она пер-

вое лицо в доме, и старались угодить ей, но с своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая», и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна, которую я знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми она могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с нею.⁷

Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с нею впечатлениям. Первое – это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только одна она могла делать. Нас нарочно приводили к ней, – вероятно, наше восхищение и удивление перед ее мыльными пузырями забавляло ее, – чтобы видеть, как она умывалась. Помню: белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные, поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо. Второе воспоминание – это было то, как ее без лошади на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с гувернером Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в том году было особенно много. Помню чашу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша (дворовые камердинеры) ввозили желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздьями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы, где сами гнули ветки, где Федор Иванович удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешины, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались незамеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянках, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом орехового листа, как шелкали со всех сторон разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи и как мы, не переставая, жевали свежие, полные, белые ядра. Мы собирали в карманы и подолы и несли в кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах орехового листа, камердинеры, желтый кабриолет, солнце – соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что, как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и тень, – могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, который везут Петруша и Матюша.

Самое же сильное, связанное с бабушкой, воспоминание – это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я узнал его), остаток старинного барства, барства деда.

Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

Он жил где-то в доме, и целый день его не было видно. Но по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степанович с своими белыми глазами, в синем длинном сертуке с буфами на плечах, сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой ли комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед

⁷ Агафья Михайловна прожила в Ясной Поляне до глубокой старости, получая от графини Софьи Андреевны месячное жалованье. Она была большой любительницей всякой твари. Все стены и потолок ее комнатки были черны от тараканов. Все жалованье она тратила на собак, мышей и тараканов. Она готовила для тараканов кашу с молоком, ставила тарелку с кашей на стол, и большие толстые тараканы сползались отовсюду к угощению. Толстовский дух, как мы увидим это из дальнейшего, ваял, по-видимому, в Ясной Поляне всегда, неожиданно захватывая самые разнообразные души (прим. автора).

золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» – «Да, продолжайте». – «Любезная сестрица, сказала она, – заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным, старческим голосом, – расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». – «Охотно, – отвечала Шехерезада, – рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степанович историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько был поглощен таинственным видом белой бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучащие среди полутемноты комнаты, освещенной дрожащим светом лампы.

Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка...»

Образы своих родителей Толстой дал нам в «Войне и мире» в лице княжны Марии Болконской с ее прекрасными, лучистыми глазами и графа Николая Ростова, который имел правило никогда не покупать новых книг, пока не прочтены старые. Образы эти до такой степени живы, выпуклы, ярки, что в каждом из нас они поселились навсегда. Пусть в их изображении *Dichtung* сильно смешано, может быть, с *Wahrheit* – страшного тут ничего нет: *Dichtung* делает *Wahrheit* только наиболее яркой, делает ее еще более *Wahrheit*...

Большое влияние на его детскую душу имела кроме того тетушка Т. А. Ергольская, которая описана им в «Войне и мире» под именем Сони. Когда он родился, ей было уже за тридцать. Толстой рассказывает, что в детстве у него были вспышки восторженно-умиленной любви к ней: «помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней...»

«То, что она последние годы своей жизни, около двадцати лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умеем ценить наше счастье, тем более что истинное счастье всегда негромко, незаметно. Я ценил, но далеко недостаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинках держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти лакомства и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, *mes chers amis*,⁸ комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней, – сказала она дрожащим голосом, – вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с первых времен моего детства, когда я еще не мог понимать ее... Влияние ее на меня было, во-первых, в том, что она еще в детстве научила меня духовному наслаждению любви. Она не слова ми учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял сча-

⁸ Мои дорогие друзья (франц.)

стве любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни...»

Ее любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду...

Кроме этих главных четырех лиц: бабушки, отца с матерью и тетушки Татьяны Александровны – в «Детстве» и «Отрочестве» и в черновых воспоминаниях Толстого, написанных для биографии, пред нами проходит целый ряд других лиц, как гувернер Карл Иванович (в действительности Федор Иванович), как экономка Прасковья Савишна, буфетчик Василий и прочие. И я опускаю здесь целый ряд мелких подробностей из этих детских лет Толстого, оставляя только те эпизоды, в которых слышен этот неподражаемый, неповторяемый толстовский дух. Таким эпизодом, такой чертой детства Толстого были те игры, которые придумывал его старший брат Николай.

«Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало быть, 10–11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему „вы“. Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно что [он] не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно неинтересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоконравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Радклифф без остановки и запинки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал чрезвычайно много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собою и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

Так вот он-то, когда нам с братьями было – мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга и сделаются муравейными братьями... Я помню, что слово «муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня. Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, что может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых, стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие я не помню, какое-то очень трудное... пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье легкое: в продолжение года не видеть зайца – все равно, живого, или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия, и еще другие, более трудные, которые он откроет после того, одно желание, каково бы оно ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наши желания. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска; Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтобы уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед этими удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшая с ним и долженствующая осчастливить всех людей. Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, верно слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает...».

И все дальнейшие страницы этой моей книги и есть, в сущности, рассказ о попытках этого мальчуганки отыскать для людей таинственную зеленую палочку и, соединив их в одно теплое муравейное братство, возвести их – всех вместе, не иначе – на Фанфаронову гору вечного безоблачного счастья...

II

Детство кончалось для маленького Льва – начиналось отрочество. Восстановить полную и точную картину и этих лет не представляется возможным все по той же причине – невозможности провести разграничительную линию между *Dichtung* и *Wahrheit*. Во всяком случае, позднейшие материалы позволяют установить одно важное и интересное обстоятельство. По тому, что мы знаем о его юных годах по его «Детству» и «Отрочеству», можно думать, что эти годы были исключительно напоены семейной любовью и нежностью, между тем как на самом деле оказывается, что этого не было и что между братьями Толстыми всякие выражения нежности были совершенно исключены и считались чем-то совершенно необыкновенным, и много лет спустя это отразилось на отношениях Толстого к его детям и его детей к нему: только одна Марья Львовна умела разбить эту корку внешней холодности и быть с отцом нежной. Когда умирал один из его братьев, Николай, и по какому-то поводу сказал ему: «благодарю, друг мой...», Толстой был потрясен: это «друг мой» было совершенно исключительным выражением нежности! Эту стыдливость в выражении чувства некоторые приписывают раннему сиротству маленьких Толстых, но едва ли это так: если родители их ушли очень рано, то около них все же оставались люди близкие и их любящие. Не объясняя, я только отмечаю этот странный факт.

Его мать умерла, когда ему было полтора года, а отец, когда ему исполнилось девять лет: он шел в Туле по улице и вдруг скончался. Одни говорили, что он умер от удара, а другие, что его отравил его камердинер, так как все наличные деньги его пропали, а именные бумаги, которые были при нем, потом принесла Толстым в Москве какая-то таинственная нищенка. Впоследствии Толстой рассказывал, что смерть отца впервые вызвала в нем чувство религиозного ужаса пред тайной жизни и смерти. Он как-то не верил в смерть и все надеялся среди московской сутолоки на улицах – они переехали в Москву ради образования детей – встретить отца живым. И это чувство неверия в смерть – для него чрезвычайно характерное: ни в ком, кажется, жизнь не была с такой силой, как в нем, – вызывало в нем чувство умиления.

Сироты остались на попечении той бабушки, которая делала руками такие великолепные мыльные пузыри и воспоминание о которой тесно сливалось в душе ребенка с воспоминанием о солнечном осеннем дне, горьком и приятном запахе орешника и хрустении сочных, ядреных орехов. Но и она пробыла с ними недолго. Был какой-то праздник. Маленькие Толстые устроили у себя в комнате веселую потеху: они жгли в ночных горшках бумагу и восхищались этим. И вдруг среди этого веселья в комнату входит их француз-гувернер, Проспер С. Тома, и, не обращая никакого внимания на глупости ребят, с дрожащей нижней челюстью говорит:

– Ваша бабушка умерла!

«... Помню потом, как всем нам сшили новые курточки черного казинета, обшитые белыми тесемками плерез, – рассказывает Толстой. – Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесенный гроб с глазетовой крышкой, и строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слезы тетюшек и Пашеньки, но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами и соболезнующее отношение к нам окружающих. Помню, как мне было приятно подслушать разговоры каких-то чужих кумушек о нас, говоривших: „круглые сироты – только отец умер, а теперь и бабушка...“.

Отец очень поправил дела деда, но тем не менее состояние их оставалось довольно запутанное, как это было большею частью в помещичьих семьях. Ради экономии часть семьи, меньших, снова отвезли в Ясную, где и стали они жить под надзором доброй тетюшки своей Татьяны Александровны, немцев-гувернеров и семинаристов-учителей. Опекуншей над ними была назначена другая их тетюшка, графиня А. И. Остен-Сакен.

Семейная жизнь ее была исключительно тяжела: сумасшедший муж, который раз покушался на ее жизнь и серьезно ранил ее, смерть первого и единственного ребенка и одиночество. Толстой так характеризует ее: «Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые занятия ее были чтения жития святых, беседы со странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Марья Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Марья Герасимовна была потому, что мать обещала взять ее кумой, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Марья Герасимовна была ее крестною матерью, и жила частью в тульском женском монастыре, частью у нас дома.

Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к тетушке Александре Ильиничне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, идя к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенно кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества ее туалета. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах».

И вот в старом, вместительном и уютном доме среди чудного парка монахини, юродивые и жития святых, полные всякого страдания и подвигов, и корчей, и слез, а вокруг – солнечная, веселая, языческая земля с ее простыми, но жгучими радостями. И очень рано почувствовал этот мальчугашка красоту земли. Я уже приводил яркую картину сбора орехов в осеннем, напоенном солнцем лесу, которая запомнилась ребенку на всю жизнь. И сколько потом будет рассеяно по его дневникам и по книгам этих ярких картин яснополянской природы! И сколько в них какой-то особенно проникновенной толстовской любви ко всякой черточке в этих картинках. Вот одна из таких картинок, поездка на маленький хуторок их, бывший верстах в трех от Ясной. Послушайте этого влюбленного в землю маленького язычника:

«Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ – одно наслаждение!.. Переезжаем мост, едем вдоль реки и поднимаемся на гору, на деревню, и въезжаем в ворота, в сад к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут потом так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени деревьев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас, и радуется тому, что мы приехали. И я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радует Матрени тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, прибежавшие за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой толстый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и кринки со свежим цельным молоком...

Перед оврагом, как продолжение его, большой глубокий, холодный проточный пруд, с карпами, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное – и не столько пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать

при ловле рыбы, но просто побывать там и побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение...».

Вскоре и эта тетка умерла в Оптиной пустыни, и опека над сиротами перешла в руки ее сестры Пелагеи Ильиничны Юшковой, которая жила в Казани. И она была женщина набожная, но недалекая и впоследствии, когда умер ее муж, она удалилась монахиней в Оптину пустынь: этот монастырь точно магнит какой притягивал к себе род Толстых. Тотчас после смерти своей сестры она порешила всю толстовскую молодежь увезти к себе в Казань. Дело было осенью. В многочисленных экипажах обитатели Ясной Поляны потянулись в Казань. Везли с собой не только всю прислугу, но даже столяров, портных, слесарей, обойщиков и прочих. Разумеется, для детворы был праздник: часто останавливались на отдых в лесу или в поле, купались, гуляли, варили себе обед.

Среди всех этих треволнений и переживаний, среди нарядной барской обстановки, среди крепостных и французских гувернеров, в самой гуще русской жизни и рос Толстой. Это был чрезвычайно оригинальный ребенок. То вдруг вздумает он остричь себе брови, то вдруг решает – чтобы удивить всех – выпрыгнуть на окна второго этажа, что тут же и приводит в исполнение, то вдруг придумает кланяться задом, то вдруг вообразит себе, что он может летать: для этого стоит только сесть на корточки и обеими руками обхватить колени, – чем крепче их сожмешь, тем выше полетишь. А потом, в Казани, он изобрел одеяло, которое утром могло служить халатом, а вечером – стоило только отстегнуть полы – снова превращалось в одеяло. Но за всеми этими чудачествами и озорством многие уже чуют недюжинную натуру в этом некрасивом, то застенчивом, то очень шаловливом мальчике. Его гувернер, Проспер С. Тома, с убеждением говорит:

– *Ce petit a une tête... C'est un petit Molière...*⁹

Почему именно Мольер, это так и осталось тайной господина Проспера С. Тома, но ребенок стал задумываться над загадками жизни чрезвычайно рано, и думы его были не по годам серьезные.

«Раз мне пришла мысль, – рассказывает он в „Отрочестве“, – что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексикона Татищева¹⁰ или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед черною доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг поражен был мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание...

⁹ Этот малыш, такая умница... Это – маленький Мольер (франц.)

¹⁰ Василий Никитич Татищев (1686–1750) – историк, автор «Лексикона российского – исторического, географического, политического и гражданского», а также «Истории Российской».

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание и что, как скоро я перестаяю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой *постоянной идеи* доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту там, где меня не было».

И как подлинно русские мальчики, он с его братьями и приятелями уже готовы были на большие дерзания. «Помню, – рассказывает он, – когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам в воскресенье, как последнюю новинку объявил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки... Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень интересное и весьма возможное».

И он уже ищет в безбрежном царстве книги каких-то ему еще не совсем ясных откровений. Потом, вспоминая, он называет целый ряд книг, которые произвели на него в эти годы особенное впечатление, и отмечает силу их влияния на его душу: история Иосифа из Библии – огромное, сказки «Тысячи и одной ночи»; «Сорок разбойников и Принц Камаральзаман» – большое, «Черная курица» Погорельского – очень большое, русские былины: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович – огромное, народные сказки – огромное, «Наполеон» А. С. Пушкина – большое.

И часто сердце Левушки тепло откликалось на зовы жизни и запоминало ее уроки на долгие годы. В его столкновениях с простым народом, с *vrai grand monde*,¹¹ как будет потом гово рить его любимый герой, князь Д. И. Нехлюдов, он как-то инстинктивно точно выделял то, что в этом мире было особенно ценного с моральной стороны. Потом он вспоминал, например, о Митьке Копылове, который был у его отца стремянным, охотником, кучером и, главное, «неоценимым фореитором». Так «вот этот самый Митька после уменьшения расходов был отпущен на оброк. Богатые купцы наперебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалование, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевах. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинную работу. И этот маленький ростом, щеголь Дмитрий чрез месяц превратился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе». Тень этого Митьки легла потом на всю жизнь, на все творчество Толстого...

А вот и другой яркий фактик из его детских лет, о котором он сам повествует в рассказе «Старая лошадь». Он с братьями учился ездить верхом. Лошадь, Воронок, была старая, и братья утомили ее. «Когда пришел мой черед, – рассказывает Толстой, – я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу, – стал погонять Воронка из всех сил, но Воронок не хотел идти из конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а только трусил и заворачивал все назад. Я злился на лошадь, изо всех сил бил ее хлыстом и ногами. Я старался бить ее в те места, где больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но Воронок все не хотел скакать. Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне:

– Будет вам ездить, сударь, слезайте... Что лошадь мучить?

Я обиделся и сказал:

¹¹ Настоящим высшим светом (франц.)

– Как же, я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас проскачу. Дай мне, пожалуйста, хлыст покрепче. Я его разожгу...

Тогда дядька покачал головой и сказал:

– Ах, сударь, жалости в вас нет!.. Что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, насилиу дышит да и стара. Ведь она такая старая, все равно, как Пимен Тимофеич.¹² Вы бы сели на Тимофеича да так-то через силу погоняли его хлыстом, – что же вам не жалко было бы?

Я вспомнил про Пимена и послушал дядьку. Я слез с лошади и когда посмотрел, как она косила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади было трудно. Мне так стало жалко Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощения за то, что я его бил».

Эта просьба о прощении, обращенная ребенком к старой лошади, – в этом сказался уже весь будущий Толстой...

¹² Девяностолетний, сгорбленный старец, живший на дворе (прим. автора).

III

По зимам молодые Толстые учились в Казани, а на лето обязательно возвращались на лошадах в свою милую Ясную. Молодой Лев усердно готовился к поступлению в университет, в котором уже учились его старшие братья. Совсем зеленый оригинал избрал для себя факультет восточных языков и готовился к вступительному экзамену, изучая не только предметы обще-обязательные, но и языки арабский и турецкий. Любопытны отметки, которые он получил на экзамене: Закон Божий – 4, история общая и русская – 1, статистика и география – 1, математика – 4, русская словесность – 4, логика – 4, латинский язык – 2, французский язык – 5+, немецкий язык – 5, арабский – 5, турецкий – 5, английский – 4. По истории общей и русской он не знал совершенно ничего, а по статистике и географии еще меньше. По географии ему пришлось говорить о Франции. Присутствовавший на экзамене попечитель Пушкин захотел выручить молодого невежду и спросил: «ну, скажите, какие приморские города Франции...» И Толстой не мог назвать ни одного... Результат экзамена был весьма печален: в университет его принять не удостоили. Но он не отчаялся и осенью того же года снова держал экзамен при университете и на этот раз был принят. Он с восторгом надел студенческий мундир и во все тяжкие пустился в – светскую жизнь.

Нельзя, говоря об этом периоде, не отметить попутно очень характерной, очень толстовской черточки. Один из его биографов, Загоскин,¹³ рассказывая об университетских годах Толстого, пишет, что среда, в которой вращался о ту пору молоденький студентик Толстой, была барская, «развращающая» среда и что Толстой инстинктивно должен был чувствовать протест. Толстой, уже стариком просматривая воспоминания Загоскина, пометает: «никакого протеста я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем обществе. Очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолodu быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хотя и праздной, и роскошной, но не злой жизнью». Эта подлинная собственноручная пометка уже седого Толстого говорит только о том, как осторожен должен быть биограф, изучающий эту сложную, бурную, всю сотканную из противоречий натуру, как не должен он верить Толстому. Если расшифровать эту пометку, то вот что получится: «я тебя терпеть не могу с твоим либеральничаньем и осуждением людей и не смей подсказывать мне, где я должен испытать „протест“ и где не должен». На самом же деле, если пресловутого «протеста» он тогда еще и не испытывал, то из множества мелких фактов ясно видно, что раздвоение в этой душе уже намечалось, что светлое и мирное анданте его детства кончилось и все ярче и горячее звучало бурное аллегро его молодых лет.

Он в самом деле много веселился, танцевал на балах, участвовал в любительских спектаклях и живых картинах и довольно скверно учился. Его больше тянули самостоятельные занятия, и он то сравнивает «l'Esprit des lois» Монтескье¹⁴ со знаменитым «Наказом» Екатерины, то раздумывает над писаниями Руссо. И снова книги летят прочь, и он опять пирует, слушает цыган, едет на охоту и уже тянется робко к женщине. И как ни завлекательны для страстной души его все эти яркие и жаркие заманки жизни, он не может отдаться им целиком, его мысль кипит, и душа все шире и шире раскидывает свои огненные крылья для дальних полетов. Отдавая дань религиозному складу своего сердца, он усердно посещает церковь и даже сочиняет сам проповеди, и с большой уже дерзостью вскрывает те условные лжи, которыми переполнена жизнь человеческая. Один из его товарищей, с которым он сидел вместе в темном университетском карцере за какую-то провинность, рассказывает, как при свете саль-

¹³ Николай Павлович Загоскин (1851–1912) – историк русского права, профессор Казанского университета. Напечатал очерк «Студенческие годы гр. Л. Н. Толстого» (1894 г.).

¹⁴ «О духе законов» (франц.). Шарль Луи Монтескье (1689–1755), французский философ, просветитель.

ной свечки, которую Толстой тайно пронес в карцер в голенище, он бурлил пред ним своей молодой, но уже смелой мыслью:

«Заметив, что я читаю „Демона“ Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет. „История, – рубил он с плеча, – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что же это как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного и свирепого тирана. Как и почему, об этом не спрашивайте...“

Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и на университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем желании остаться равнодушным я хохотал, как помешанный.

– А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны? Кому нужны?...

В этих разговорах провели всю ночь. Едва забрезжило утро, как отворилась дверь, – вошел вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам. Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделившись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только что просыпающейся улицы. Отяжелевшая точно после угара голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеванными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению».

И для Толстого все эти рассуждения не были праздным кипением, мысли пленной раздражением, как это часто бывает у русских людей: эти мысли всплывут многие годы спустя в его проповеди. И мало того: и в карцере-то он сидел за непосещение лекции истории. А весной 1847 года, разочаровавшись в университетской науке окончательно, он подал прошение об увольнении его из университета и, когда славная речка Казанка гуляла по полям и лесам, студенты шумно проводили своего буйного товарища в неизвестное. И все, что напоминает теперь о пребывании Толстого в Казанском университете, это надпись, нацарапанная ножом или гвоздем на стене одной из аудиторий: «граф Лев Николаевич Толстой...»

Р. Левенфельд в своих «Gespräche mit und über Tolstoy»¹⁵ рассказывает, как он, будучи в Ясной, спросил уже знаменитого писателя, почему он при неутолимой жажде своей к знанию, все же оставил университет.

«– Да в этом-то, может быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета... – отвечал Толстой. – Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь предмет, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и ста-

¹⁵ «Разговоры с Толстым и о нем» (нем.).

рался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на один этот вопрос. Так было со мной и в Казани...»

А еще позднее он говорил, что причин оставления университета было две: во-первых, брат кончил курс и уезжал, а во-вторых, работа над «Наказом» Екатерины и «Духом Законов» Монтескье открыла ему новую область самостоятельного умственного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей.

Прочитанные за это время книги с его пометками о силе произведенного ими на него впечатления показывают отчасти, куда тянулась больше всего эта бурная душа: «Евангелие от Матфея», «Нагорная проповедь» – огромное, Стерн,¹⁶ «Сентиментальное путешествие» – очень большое, Руссо, «Исповедь» – огромное, «Эмиль» – очень большое, «Новая Элоиза» – очень большое, Пушкин, «Евгений Онегин» – очень большое, Шиллер, «Разбойники» – очень большое, Гоголь, «Шинель», «Иван Иванович и Иван Никифорович», «Невский проспект», «Вий» – большое, «Мертвые души» – очень большое, Тургенев, «Записки охотника» – очень большое, Дружинин,¹⁷ «Полинька Сакс» – очень большое, Григорович,¹⁸ «Антон Горемыка» – очень большое, Диккенс, «Давид Копперфильд» – огромное, Лермонтов, «Герой нашего времени», «Тамань» – очень большое, Прескотт,¹⁹ «Завоевание Мексики» – большое...

К этому казанскому периоду его жизни относятся воспоминания о его брате Дмитрие, имевшем на него большое влияние, и которые нам показывают, что избранный потом Толстым путь ничего особенно нового в себе для семьи Толстых не заключал. Вот нарисованный им портрет его брата Дмитрия:

«Митенька – годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что в детстве он был очень капризен; рассказывали, что... он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом так же злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николенку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее... Особенности его проявились и памятливы мне уже в Казани... До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ... и учился хорошо и усердно. Помню, учитель... определил по отношению к учению нас, трех братьев, так: Сергей и хочет, и может, Дмитрий хочет, но не может (это была неправда) и Лев и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда...

В Казани я, подражавший во всем Сереже, начал развращаться... Не только с Казани, но еще и прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, *comme il faut*. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, мужествен и то, что делал, доводил до пределов своих сил... Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко; помню, прекрасно перевел Шиллера «Юноша у ручья», но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как раз он расшалился и как девочки пришли в восторг от этого. И мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у тетушки-опекунши дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша. Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я

¹⁶ Лоренс Стерн (1713–1768) – английский писатель, крупный представитель сентиментализма.

¹⁷ Александр Васильевич Дружинин (1824–1864) – писатель, литературный критик.

¹⁸ Дмитрий Васильевич Григорович (1822–1899/1990) – писатель.

¹⁹ Уильям Прескотт – американский историк.

говору, кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ, довольно силен – не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной... Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь. И он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни...

Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все Евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи, никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас же с своим серьезным лицом взял и передал. Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое...

В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишен, – черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда, до самого последнего времени, не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совсем не было. Никогда не помню на его лице той удерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, миндалеобразные большие карие глаза. С Казани мы только стали обращать на него внимание, и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение *comme il faut*, вообще внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцевал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолodu уже у него появился тик – подергиванье головой, как бы освобождаясь от узости галстука...

Мы, главное – Сережа, водили знакомства с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

Жили мы тогда на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами над залой. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жили Сережа и я. Мы, и я и Сережа, любили вещицы, убрали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей – это минералы. Он распределил их на деления и разложил под стеклами в ящике. Так как мы, братья, да и тетушка с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек инженер Ее, не столько по нашему выбору приятель наш, но потому, что он лип к нам, один раз, проходя чрез комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку. Ее. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ее. двинул ящик и потряс их. Митенька сказал: «Оставьте!». Ее. не послушался. И что-то подшутил, кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой

ударил по лицу Ее. Ее бросился бежать, Митенька за ним. Когда они прибежали в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька объявил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещать Митеньку, чтобы пропустил Ее. Но он взял половую щетку и объявил, что непременно исколотит его. Не знаю, что было бы, если бы Ее. пошел чрез его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный чердак.

Таков был Митенька в свои минуты злобы, но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, – не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели даже пристроить, выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас, а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее... Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было всё распухшее, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также глянцевитые, распухшие, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волосы у нее были еще черные, но редкие, не скрывающие голый череп... От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И – удивительное дело – мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим, Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани...»

Этот рассказ важен нам потому, что, повторяю, он показывает, что все эти устремления к святости, к нравственному подвигу, были вообще свойственны этой большой семье и что, следовательно, Лев Толстой, каким он стал впоследствии, только плод от старого толстовского дерева. И, как наружно ни франтил молодой Толстой в то время, как ни плясал, как ни веселился, все же у себя, наедине, он мучился и искал чего-то, и усердно писал свой дневник, и строил самые благоразумные и самые благородные планы на будущее, те планы, которые при первом дуновении какой-нибудь страсти разлетались у него, как карточный домик. Так 17-го апреля 1847 г. – то есть, когда ему не было еще и 19-ти лет, – он заносит в свой дневник:

«Перемена в образе жизни должна произойти. Но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души... Цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего».

И, ставя вешки на путях в будущее, он вырабатывал на ближайшие два года план ехать в деревню и там:

1 – изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет; 2 – изучить практическую медицину и часть теоретической; 3 – изучить языки французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский; 4 – изучить сельское хозяйство, как теоретически, так и практически; 5 – изучить историю, географию и статистику; 6 – изучить математику, гимназический курс; 7 – написать диссертацию; 8 – достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи; 9 – написать правила; и 10 – получить некоторые познания в естественных науках. И – добавляет он, неудовлетворенный скромными размерами такой двухлетней программы, – составить сочинения из всех предметов, которые будет изучать.

Только и всего! И все это надо закончить в два года. И чтобы не терять золотого времени, он уже и теперь пишет самостоятельные статьи для себя, – то о цели философии, то

«Рассуждение касательно будущей жизни», то «Определение времени, пространства и числа», то «Методы» и прочее, и этот раж писать без конца правила доводит его до того, что он пишет для себя правила карточной игры, правила, как держать себя в гостинной, на балу и прочее.

Женщина вкрадчиво, но настойчивее и настойчивее стучится в эту молодую, взвихренную страстями душу, но, весь во власти всех этих столпников, отшельников, юродивых, пустынножителей, прятавшихся от света языческого солнца в сырые, черные подземелья, всех этих трагических борцов со всепобедною жизнью, которые заходили и часто подолгу жили в гостеприимной Ясной, под крылом у всех этих тетушек, молодой Толстой испуганно поднимается вслед за ними на борьбу с ней, которая займет всю его жизнь и сделает из этой жизни трагедию. И уже в Казани, наивный юноша, он так заговаривает себя в дневнике:

«Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной, и, сколько можно, удаляйся от них. В самом деле, от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват тому, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и др., как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины лучше нас, в теперешний же развратный, порочный век они хуже нас...»

Можно сказать, что все это чрезвычайно наивно и пошло даже и в устах девятнадцатилетнего юноши, что рассматривать женщин, то есть наших матерей, жен, дочерей, сестер и даже подруг, как каких-то особенно хитрых и опасных врагов, нелепо, но такова власть тысячелетних предрассудков даже и над большими умами. И от этого византийского уклона мысли Толстой не освободился даже и в последующие годы, хотя, казалось бы, превозноситься с нашими добродетелями над женщиной нам никак уж нельзя: историю рода человеческого делает больше мужчина и то, что он из нее сделал, не дает ему права на большое самообольщение.

Мы уже видели, какой нетерпеливый отпор дал Толстой одному из своих биографов, когда тот, полный самых благих намерений, попробовал было немножко отрицательно охарактеризовать казанскую обстановку молодого Толстого и подсказать ему «протест» против ее пустоты и развращенности, но сам Толстой впоследствии, уже в «Исповеди» своей, так говорит об этих годах:

«Помню еще, что когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной ему страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали его почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывающегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни. В отношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением...

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я очень рано стал много читать и думать, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с шестнадцати лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я перестал верить в то, что

мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать...

Я всею душой желал быть хорошим, но я был молод, у меня были страсти, я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказать то, что составляло самые душевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, – я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть – все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетюшка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: «*Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut*»;²⁰ еще другого счастья она желала мне – того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья – того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов».

И то, что говорил он в ответ на подсказывания либерального биографа, было в тот момент, когда это говорилось, совершенно справедливо, и эти страшные строки в тот момент, когда они писались, были справедливы: он все умел каким-то волшебством сделать правдой. Подобная какой-то неопалимой купине, эта страстная душа своим горением слепила миллионы людей и, точно зачаровав их, заставляла принимать от него все: точно высшая правда его была в этом вот неудержимом горении, а слова, мысли, книги, все это так только, что-то временное и неважное и во всяком случае не главное.

²⁰ «Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной» (франц.).

IV

Волшебница-жизнь манила страстную натуру эту во все стороны сразу, обещая много еще неизведанных наслаждений и счастья, и вот, прожив лето 1847 г. в Ясной и совершенно забыв то благоразумное расписание на два года, которое он только что себе составил, осенью Толстой отправляется в Петербург. Предлог выдуман им превосходный и очень убедительный: ему надо держать кандидатский экзамен в университете. В начале 1848 г. он, подготовившись в течение недели, раньше не было времени, – благополучно сдает два экзамена по гражданскому и уголовному праву. Он пишет своему брату Сергею, что он намерен остаться в Петербурге «навсегда» и служить чиновником, хотя бы ему пришлось начать с самых низших ступеней.

«Я знаю, что ты никак не поверишь, – пишет он, – чтобы я переменялся, скажешь: „Это уже в 20-й раз, и все пути из тебя нет, самый пустяшный малый“, – нет, теперь я совсем иначе переменялся, чем прежде менялся: прежде я скажу себе: „Дай-ка я переменюсь“, а теперь я вижу, что я переменялся, и говорю: „я переменялся“.

Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена; еще этого со мной ни разу не было. Ежели же кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург; какое бы направление кто ни имел, всему можно удовлетворить, все можно развить, и легко, без всякого труда. Что же касается до средств к жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе не дорогая и, напротив, дешевле и лучше московской...»

Это было в феврале, а в мае. то есть через три месяца, тому же брату Сергею он пишет:

«Сережа, ты, я думаю, уже говоришь, что я „самый пустяшный малый“, и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо! Ты не поверишь, как меня это мучает. Главное, долги, которые мне нужно заплатить и как можно скорее: потому что, ежели я заплачу их не скоро, то я сверх денег потеряю и репутацию. Мне до нового дохода необходимо 3 500 руб. сер.: 1 200 в Опекунский Совет, 1 600 заплатить долги, 700 руб. на прожиток. Я знаю, что ты будешь ахать, но что же делать? Глупость делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу (некому было сечь, вот главное несчастье) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого положения, в котором я теперь, – без гроша денег и кругом должен...»

Я начал было держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменяю намерение и хочу поступить юнкером в конно-гвардейский полк. Мне совестно писать тебе это, потому что я знаю, что ты меня любишь и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность. Я даже несколько раз вставал и краснел от этого письма, что и ты будешь делать, читая его; но что делать, прошедшего не переменяешь, а будущее зависит от меня.

Бог даст, я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу: она меня приучит к практической жизни и *volens-nolens* мне надо будет служить до офицерского чина. С счастьем, то есть ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен и прежде двухлетнего срока. Гвардия идет в поход в конце мая... Не сердись на меня, пожалуйста, а то я теперь слишком чувствую свое ничтожество, и исполни поскорее мои поручения. Прощай, не показывай письма этого тетеньке – я не хочу ее огорчать».

Через самое короткое время он снова пишет:

«В последнем письме моем я писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен поступить в конно-гвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьезная». Но и это решение продолжалось только несколько дней; была весна, когда, по выражению Тургенева, и счастливых тянет в даль, и вот, бросив и университет, и мечты о чиновничестве, и конную гвардию, Толстой несется

в милую Ясную, и везет с собой какого-то пьянчужку немца, отличного музыканта, и вместе с ним со всей страстью отдается там музыке. Кутежи, охота, карты, цыгане сменяются периодами бурного покаяния, а покаяние, смирение и попытки самосовершенствования снова уступают место яркому фейерверку страстей. Его жизнь какое-то слепящее аллегро фуриозо. Эти взрывы страстей пугают его самого, он из всех сил старается ввести себя в оглобли, сковать себя – и вот опять «правила», которые он заносит в свой дневник, так размечая порядок этих солнечных и жарких летних дней: хозяйство, купанье, дневник, музыка, еда, отдых, чтение, купанье, хозяйство... Но правила эти держатся, только пока он их записывает, и не успевают еще чернила высохнуть, как снова он, пьяный жизнью, сверкает, дымит, бурлит и безумствует, и, устав, снова тянется к своему дневнику: «живу по-скотски, хотя и не совсем беспутно; занятия свои почти все оставил и духом очень упал...» И, стараясь уловить свою буйную, как вешняя гроза, душу в сети слова, он пишет:

«Все ошибки нынешнего дня можно отнести к следующим наклонностям: 1) *Нерешительность*, т. е. недостаток энергии. 2) *Обман* самого себя, то есть предчувствуя в вещи дурное, не обдумываешь ее. 3) *Торопливость*. 4) *Fausse honte*, то есть боязнь сделать что-либо неприличное, происходящее от одностороннего взгляда на вещи. 5) *Дурное расположение духа*, происходящее большей частью 1) от торопливости, 2) от поверхностного взгляда на вещи. 6) *Сбивчивость*, то есть склонность забывать близкие и полезные цели для того, чтобы казаться чем-либо. 7) *Подражание*. 8) *Непостоянство*. 9) *Необдуманность*...»

Теперь, кажется, все разобрано, все ясно, и начнется что-то совсем новое, особенное, но – ничего не начинается, и в смутах и бурях проходят его беспорядочные дни – неделя за неделей и месяц за месяцем. Он живет то в Ясной, то в Москве, то опять в Ясной, читает, кутит, пишет дневники, кается, бешено предается карточной игре, бесплодно пытается поставить у себя хозяйство на каких-то смутных, но, как ему кажется, более справедливых и более разумных началах, разочаровывается и снова пускается во все тяжкие. Весной 1851 г. он, двадцатитрехлетний молодой человек, едет в Москву, во-первых, для того, чтобы играть в карты, а во-вторых, для того, чтобы или поступить на службу или жениться. Карты скоро надоедают ему, жениться не удастся, не удастся и поступить на службу и – он острит, что из этих трех выходов он выбрал четвертый: занял деньги у Киреевского. У него уютная квартирка из четырех комнат, есть роялино, которое он взял напрокат, обедает он дома щами и кашей и поджидает только варенья и наливку, чтобы иметь все, к чему он привык в деревне. Для выездов у него есть очень модные сани и изящная упряжь. И, как всегда, он преисполнен самых благих намерений:

«Недавно, – пишет он тетушке в Ясную, – я прочитал в одном сочинении, что первые признаки весны действуют обыкновенно на моральную сторону человека. С возрождением природы хочется чувствовать и себя возрождающимся, сожалеешь о прошлом, о дурно проведенном времени, раскаиваешься в своих слабостях, и будущее представляется нам светлой точкой впереди нас, и становишься лучше, морально лучше. По отношению ко мне это очень верно. С тех пор, как я начал жить самостоятельно, весна возбуждала всегда во мне самые лучшие намерения, которых я и держался более или менее продолжительное время. Но зима для меня всегда была камнем преткновения... Но впрочем, вспоминая прошедшие зимы, я думаю, что эта зима была все же самая приятная и самая разумная из всех. Я веселился, ездил в свет, я запасся приятными воспоминаниями и со всем тем я не расстроил своих денежных дел. Впрочем, и не устроил их тоже...». Да и мудрено было устроить: сегодня он закладывал свои часы, а завтра покупал себе ненужную лошадь. А то вздумал взять подряд на почтовую «гоньбу» между Москвой и Тулой, но – сразу и оставил: дохода было 150 рублей, а расходы 2 000.

И до того вся эта жизнь была не нужна ему, до такой степени он был свободен от всяких связей и обязательств, неизбежно связанных с жизнью серьезной, настоящей, что раз, когда к нему заехал жених его сестры, ехавший в Сибирь, чтобы перед свадьбой покончить там разные

дела, Толстой вскочил к нему в тарантас и не уехал в Сибирь только потому, кажется, что на нем не было шапки. Молодое вино бродило, бурлило и не знало, куда ему броситься...

В апреле 1851 г. приехал в Ясную с Кавказа старший брат Толстого, Николай, который служил в кавказской армии офицером. Рассказы брата о дикой и грандиозной природе Кавказа, о яркой и волнующей боевой жизни там, на этой далекой и опасной украине, сразу воспламенили младшего брата, и он в одно мгновение решает: на Кавказ.

По пути туда братья задерживаются недели на две в Москве. Небольшой отрывок из одного письма Льва к тетеньке ярко говорит о настроениях его в это время:

«Я был на прогулке в Сокольниках, погода была отчаянная, и я не встретил ни одной из светских дам, которых мне хотелось видеть... Я пошел шататься среди черни, в цыганский табор. Вы легко можете себе представить, какая поднялась в душе моей борьба за и против, но я вышел победителем, то есть не дал этим веселым потомкам блистательных фараонов ничего, кроме моего благословения. Николай находит, что я был бы очень приятный компаньон в пути, если бы не эта моя опрятность. Он злится, что я, как он говорит, меняю белье по двенадцати раз на день. Я тоже нахожу его приятным товарищем, если бы только не эта его грязь. Кто из нас прав, не знаю».

Еще ярче маленький эпизод, который разыгрался в Казани, куда Толстые заехали «по пути» и где молодой Лев вел себя самым махровым пшютом. Раз шли оба брата по городу, а навстречу попался им какой-то господин, который ехал в экипаже, опираясь руками на свою трость.

– Как видно, что этот господин какая-то дрянь... – сказал Толстой, обращаясь к старшему брату.

– Отчего? – удивился тот.

– А без перчаток... – великолепно пояснил младший.

– Так отчего же дрянь, если без перчаток? – улыбнулся брат своей умной, ласковой и чуть насмешливой улыбкой...

Путь из Казани на Кавказ лежал в то время чрез Воронеж и Землю Войска Донского, но молодые Толстые не были бы Толстыми, если бы и тут они не сделали по-своему. Они порешили ехать до Саратова лошаадьми, а оттуда по Волге до Астрахани на лодке. Путешествие это длилось около трех недель, а из Астрахани почти безлюдными степями братья в конце мая прибыли в действующую армию, которая вела тяжкую, упорную и многолетнюю борьбу с дикими горцами Кавказа, терзавшими непрерывными набегами эту богатую, но удаленную Украину России.

Эта яркая военная эпопея была только одной главой той почти тысячелетней истощающей борьбы России с Азией, в которой победа – хотя и очень дорогой ценой – осталась за Россией. Роль России, как щита Европы, обращенного на восток, совершенно не оценена западными народами. Кто знает, что было бы теперь с Европой, если бы не эта стена России, закрывшая ее от таинственного и страшного Востока, который своего последнего слова, может быть, и теперь не сказал еще. И как странно, что в этой эпической борьбе с Востоком волею Рока должен был принять участие и Лев Толстой, тот Лев Толстой, которому потом суждено было стать одним из самых ярких и самых сильных противников войны.

Но первое время он был там лишь простым зрителем военной жизни. Немножко презрительно фыркал на грубоватое офицерство, охотился, увлекался спиритизмом, кутил, подлечивал серными источниками свои ревматизмы и жадно всматривался в эту дику, почти первобытную и такую увлекательную жизнь горцев и казаков. Но все настойчивее и настойчивее пробиваются в молодой душе те побег, пышный и буйный рост которых потом давил миллионы людей. Так, в июле этого, 1851 г. он записывает в своем дневнике:

«Вчера я почти всю ночь не спал; пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые

обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Милосердия Двери, Воззвание к Ангелу Хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу, хотя ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил Его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не умею и не могу просить. Я в одном чувстве соединял все: и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера, – это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. Как страшно было мне смотреть на всю мелочную – порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца я просил Бога принять меня в лоно Свое. Я не чувствовал плоти, я был – один дух. Но нет! Плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло и часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах. Но я не виноват, я не мог...».

Запись эта интересна не только тем, что дает картину его духовной жизни среди диких и прекрасных гор Кавказа, но и тем, что она находится в ярком противоречии тех строк его «Исповеди», в которых он, давая сжатую и, очевидно, совершенно неверную схему своего прошлого, говорит, что с шестнадцати лет он перестал становиться на молитву, ходить в церковь, говеть и верить в то, что ему было сообщено с детства.

И это двоеение его было явлением постоянным: темная Византия не могла победить в нем пьяного жизнью язычника, и язычник никак не мог раз навсегда разделаться с этими тысячелетними веригами, которые надела на его душу странная судьба его. Так, несколько дней спустя он опять повторяет тот же мотив:

«... Что-то особенно великое и сладкое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен я кажусь себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками, и приходиться в отчаяние, что у меня левый ус выше правого и я два часа расправляю его перед зеркалом...»

И мечты о седле и черкеске, о казачках и об огромном носе – он ненавидел свой нос картошкой – это самое малое: с утра, после ночи, проведенной в таких молитвенных устремлениях, он, как настоящий сноб, начинает фыркать на грубоватых офицеров, он приказывает пороть своего денщика Митьку за пьянство, он то сладко мечтает о казанской Зине, то еще слаще о московской цыганке Кате, как она сидела у него на коленях и уверяла его в любви, то составляет себе молитвы, то напивается... Но дневник его с этого времени становится все серьезнее, все интереснее, все полнее... Он проигрывает в карты большие деньги, выдает векселя и с воплем, как ребенок, как дикарь, бросается к Богу: сверши чудо, уничтожь мои векселя!.. Чудо свершается: его кунак Садо, лихой джигит, плясун, рубака и вор, истинное дитя гор, выигрывает его векселя в карты и возвращает по принадлежности, и Толстой умиленно благодарит Господа в своем дневнике за это несомненное доказательство Его доброты к недостойному рабу Его, графу Льву Николаевичу Толстому. Он обещает Садо взять его с собой в Россию, а пока просит тетюшку выслать для Садо из Тулы шестиствольный пистолет и коробочку с музыкой... если, однако, все это стоит не очень дорого. А верный кунак его клянется, что он выкрадет для Сергея Толстого, любителя лошадей, самого лучшего коня в крае, хотя бы это стоило ему сто жизней...

Потом известный критик Михайловский придумал очень либерально какую-то десницу и шуйцу Толстого. У Толстого, как у какого-то индусского божества, была не только шуйца и десница, у него была тысяча рук, и всеми ими он жадно, нетерпеливо тянулся к жизни, и

все, что он схватывал, все – на мгновение – увлекало и пьянило его. Не разбирая, «grief in die Mitte mit ecker Hand, wo du's auch packst, dort ist's interessant»,²¹ – говорил Гёте, и так поступал с малых лет Толстой, играя жизнью и всем, что в ней, начиная с седла и казачки и кончая Господом Богом, благосклонно выручающим его векселя...

Но игрушки жизни так же скоро и надоедали ему. Как ни прекрасен был Кавказ, как ни интересна эта дикая боевая жизнь, в которой он вскоре принял и непосредственное участие, поступив в артиллерию, как ни пьянила его буйную натуру эта игра со смертью, он уже опять недоволен, опять мечтает о переменах, о каком-то новом и светлом счастье, которое его, конечно, непременно ожидает. Вот что пишет он об этом своей далекой тетушке:

«Пройдут годы, и вот я уже не молодой, но и не старый в Ясной, дела мои в порядке, нет ни волнений, ни неприятностей. Вы тоже в Ясной. Вы немного постарели, но все еще свежая и здоровая. Жизнь идет по-прежнему; я занимаюсь по утрам, но почти весь день мы вместе; вечером я читаю вслух то, что вам не скучно слушать; потом начинается беседа. Я рассказываю вам о своей кавказской жизни, а вы ваши воспоминания о прошлом, о моем отце, о матери, вы рассказываете страшные истории, которые мы, бывало, слушали, вытаращив глаза и раскрыв рты. Мы вспоминаем о всех тех, кто нам были дороги и которых уже нет; вы плачете и я вместе с вами, но мирными слезами. Мы говорим о братьях, которые наезжают к нам, о милой Машеньке, которая со всеми детьми будет ежегодно гостить по несколько месяцев в любимой ею Ясной. Знакомых у нас не будет; никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни. Чудесный сон, но я позволю себе мечтать еще о другом. Я женат – жена моя кроткая, добрая, любящая, и она вас любит так же, как и я. Наши дети вас зовут „бабушкой“; вы живете в большом доме, наверху, в той комнате, где когда-то жила бабушка. В доме все по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папы, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменив роли: вы берете роль бабушки, но вы еще добрее ее, я – роль папы, но я надеюсь когда-нибудь ее заслужить; моя жена – мамы, наши дети – наши роли.

Не хватает только той, кто мог бы вас заменить в отношении всей нашей семьи. Не найдется такой прекрасной любящей души. Нет, у вас преемницы не будет...

Три новых лица будут являться время от времени на сцену – это братья, и, главное, один из них – Николенька, который будет часто с нами. Старый холостяк, лысый, в отставке, по-прежнему добрый и благородный.

Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки. Как дети будут целовать у него сальные руки (но которые стоят того), как он будет играть с ними, как моя жена будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания об давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас, как вы нас, старых, будете по-прежнему называть «Левочка, Николенька» и будете бранить меня за то, что я ем руками, а его за то, что у него руки нечисты.

Если бы меня сделали русским императором, если бы мне предложили Перу, словом, если бы явилась волшебница с заколдованной палочкой и спросила меня, чего я желаю, положила руку на сердце, по совести, я сказал бы: только одного, чтобы эта моя мечта осуществилась... Дорогая тетенька, скажите, вы были бы счастливы? Все это может случиться, и надежда так утешительна!

... Опять я плачу. Почему это я плачу, когда думаю о вас? Это слеза счастья. Я счастлив тем, что умею вас любить.

И какие бы несчастья меня не постигли, покуда вы живы, несчастлив беспросветно я не буду...

²¹ «Бери все, что вокруг тебя, и что возьмешь, то и интересно» (нем.).

Я вам признаюсь в том, что мне очень стыдно, что я должен очистить свою совесть перед вами. Случалось раньше, что читая ваши письма, когда вы говорили о вашей привязанности к нам, мне казалось, что вы преувеличиваете, и только теперь, перечитывая их, я понимаю вас – вашу безграничную любовь и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий, кроме вас, кто бы ни прочел сегодняшнее мое письмо и предыдущее, упрекнул бы меня в том же, но от вас этого упрека я не боюсь; вы меня слишком хорошо знаете, что, быть может, единственное мое достоинство это то, что я умею сильно чувствовать...»

Молодой орленок, одиноко сидя на заоблачной скале, размышлял, как хорошо и тепло, и уютно в долинах, но если бы его закинула судьба в долину, то жадным сердцем своим он так же горячо мечтал бы о том, как хорошо на этих гордых снеговых вершинах...

V

Там, на Кавказе, в нем впервые пробудилась писательская жилка, и он пишет в белой казачьей мазанке своей первый труд, «Историю моего детства». В июле 1852 г. он отправляет ее в самый популярный тогда журнал «Современник», а в конце августа, в самый день своего рождения, – ему исполнилось двадцать четыре года – он получает от главного редактора журнала, уже знаменитого тогда Н. А. Некрасова письмо, которое, по словам Толстого, его «обрадовало до глупости»: Некрасову его повесть понравилась, и он обещал напечатать ее в ближайших книжках журнала. И, действительно, 6 сентября 1852 г. было напечатано первое произведение Льва Толстого – среди буйных аллегрó его жизни в отдалении послышались первые аккорды триумфального марша...

«Детство» сразу обратило внимание на молодого автора, скромно скрывшегося под инициалами Л. Н., и успех его рос изо дня в день. Окрыленный, Толстой продолжал свою работу. Он чувствует в себе брожение творческих сил и около этого времени отмечает в своем дневнике: «есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все». И военная жизнь стала уже тяготить его настолько, что он дожидается только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. Так с ним было всегда и во всем: попробует из нового кубка и – отставляет его прочь. Но оказалось, что, по законам того времени, освободиться от военной службы не так-то легко, и Толстой, тоскуя о воле, продолжает нести нелегкие в боевой обстановке военные обязанности, часто к тому же подвергая себя и смертельной опасности. Так раз, когда он, уносный фейерверкер, наводил пушку, неприятельская граната ударила в лафет этой пушки и разорвалась у самых его ног, не причинив ему, однако, никакого вреда. В другой раз он был на волосок от плена, а с чем тогда плен был связан, об этом он же потом рассказал нам в своем прелестном рассказе «Кавказский пленник». Он шел с небольшим отрядом в Грозную. Несколько человек верховых отделились от пылящей пехоты и, несмотря на строжайший запрет начальства и даже наказания, уехали вперед и – наткнулись на чеченцев. Мирный чеченец Садо, с которым ехал Толстой, был его большим другом. И незадолго перед тем они поменялись лошадьми. Садо купил молодую лошадь. Испытав ее, он предоставил ее своему другу, Толстому, а сам сел на его иноходца, который, как известно, галопа не знает. И вдруг на них налетают чеченцы. Толстой, крикнув товарищам, которые ехали ложиной и чеченцев не могли видеть, об опасности, пустился с Садо наутек, в недалекую уже Грозную. На резвой лошади своего друга он мог бы легко уйти от погони, но он не захотел оставить Садо. Подобно всем чеченцам, Садо никогда не расставался с ружьем. Угрожая преследователям выстрелом, – хотя ружье не было заряжено – Садо поспевал, как мог, за Толстым. Чеченцы не стреляли: им хотелось забрать обоих в плен. Но это им не удалось: часовой крепости заметил издали погоню, и выскочившие по тревоге казаки помчались на помощь...

А там опять кутежи, картежь, новые опасности и новые безумства.

Всячески удерживая себя в рамках добродетели, Толстой продолжает в своих дневниках ставить себе вешки и всякие перегородочки, чтобы было за что держаться, когда налетит шквал. По своему, уже немалому опыту, он мог бы убедиться, что для огневой натуры его тщетны все эти бумажные препоны, но он не устает и снова и снова заносит в свой дневник все новые и новые «правила»: «будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен, без необходимости. Воздерживайся от вина и женщин, – наслаждение так мало, неясно, а раскаяние велико» и т. д. Но все эти правила были действительно, повторяю, только до тех пор, пока не высыхали чернила...

Наконец, Толстой сдал офицерский экзамен и поехал в Ясную: свобода! Но, увы, в Ясной уже ожидал его приказ о назначении в дунайскую армию, выступившую против турок. Он делает больше двух тысяч верст на лошадях и в марте 1854 г. прибывает в Бухарест.

Он присутствует при осаде Силистрии, является свидетелем ночных приступов, когда грохот пушек сливался в один сплошной рев. Толстой видит своими глазами зверства турок, в которые он до сих пор не верил, и готов отказаться от недавних своих мечтаний о свободе в тиши Ясной и о любимой работе. Он влюбляется в... главнокомандующего и пишет тетушке:

«Да, дорогая тетенька, я очень желал бы, чтобы ваше пророчество сбылось. О чем я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от глубины моего сердца...»

Но война войной, а внутри, незримая, идет все та же прежняя напряженная работа: Толстой пристально вглядывается в Толстого, пытается разгадать его, пытается управлять той бурной жизнью, которая несет его в неведомое и иногда пугает его. Толстой решительно не нравится Толстому.

«Скромности у меня нет! – пишет он в дневнике. – Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-и лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни, наконец изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов, и, главное, привычек, а оттуда, придравшись к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком, почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употребить на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но – с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность...

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я неводержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра, – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

Да, я нескромен, оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете».

Но иногда у него бывают и передышки на его трудном внутреннем пути и он, перестав на время и мечтать об адъютантстве, и казнить себя, тихо радуется жизни, красота которой имеет такую власть над его душой.

«После обеда... я облокотился на балкон, – пишет он в свой дневник в каком-то маленьком румынском городке, – и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же после нескольких грозowych туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе.

Хозяйская хорошенькая дочка так же, как я, лежала на своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде».

В этом крошечном отрывке – весь Толстой: внутренняя тихая красота и небрежная, неотесанная фраза, которая, однако, этой красоты не только не заслоняет, но, наоборот, как-то даже подчеркивает ее. «Притом же после нескольких грозowych туч, которые проходили и мочили нынче землю, осталась одна большая»... – ужас для современных стилистов, а у Толстого – ничего. И когда читаешь эти интимные строки, невольно вспоминается князь Андрей у окна, а над ним, тоже у окна, Наташа, – вероятно, когда писал он эту страницу своего великого произведения, в душе его живо было воспоминание об этом вечере в далеком румынском городке...

Первое время война шла для России удачно – русская армия вступила в пределы Турции, а русский флот уничтожил турецкий флот под Синопом – но потом дела пошли хуже, началось отступление, и Толстой заскучал. В молодой душе пылкого офицера, не удовлетворенного своей более чем скромною ролью, вероятно, роились яркие мечты о подвиге, славе: давно ли гремел по всему миру другой молоденький артиллерист в треугольной шляпе? Его след не остыл еще в жизни, и огромная тень его покрывала собой всю Европу... Почему бы не загореться и другому такому факелу?... И вот Толстой отпрашивается в Севастополь, уже осажденный англо-французским флотом: не там ли поджидает его судьба с лавровым венком?... Ведь мы только что были свидетелями его страха отдать предпочтение славе пред добродетелью...

И вот он уже в Севастополе, и особенная, севастопольская атмосфера сразу охватывает его.

«Город осажден с одной стороны, – рассказывает он в письме к своему брату Сергею, – с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3-х недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед, при малейшем движении вперед его засыпают градом снарядов.

Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько героизма. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!», говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» – и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание.

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24-го было 160 человек, которые, раненые, не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го, мы поуспокоились, в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно. Есть 3 предположения: или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардированье 5-го числа останется самым блестящим славным подвигом не только в русской, но и во всемирной истории. Более 1 500 орудий действовали по городу и не только не заставили сдаться его, но не заставили замолчать и 1/20-ой наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус) деремся с неприятелем многочисленней-

шим и имеющим еще флот, вооруженный 3 000 орудий, отлично вооруженным штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко, и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то».

Но в то же время иногда при виде всех этих ужасов и жестокости душа его вопила: как люди, христиане, могут делать все это! Неужели они не одумаются, неужели они не бросят свои смертоносные орудия и не обнимутся при виде всех этих морей крови как братья? Но люди, христиане, – может быть, тоже вопя в душе, – все же продолжали делать свое дело, и сам Толстой заражался общим героическим настроением и смело глядел в глаза смерти. Было бы ошибочно представлять себе севастопольцев и самого Толстого какими-то рыцарями-подвижниками без страха и упрека, со сверкающим взором, с дланью, простертой повелительно вперед. Нет, и они были люди и часто даже, несмотря на всю трагическую красоту обстановки, совсем маленькие люди. Здесь я приведу один эпизод из севастопольских дней, о котором мне рассказывал в Ясной сам Толстой много лет спустя.

– С четвертого бастиона, где я находился, – рассказывал он, – меня вдруг назначили в тыл командиром горной полубатареи. Забрал я свои пушки и поехал. Место было от боя отдаленное и совсем безопасное. Расставили пушки по горе, смотрю – впереди растет великолепный, толщиной в обхват орех. Нам он не мешал нисколько, тем более, что мне было совершенно ясно, что стрелять отсюда мы никогда не будем, но... надо же было показать солдатам свою власть! И вот я приказал срубить орех. И его срубили – так, низачем... До сих пор не могу я забыть этого ореха... – задумчиво прибавил он.

И тут же, может быть, пофорсив так перед солдатами и погубив ни за что прекрасное дерево, Толстой заносит в свой дневник такие стихи:

Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить?

Кто сделал ту рану? Лишь ведает Бог,
Но мучит меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья...

Там, среди грохота пушек, у него рождается мысль об издании журнала для армии, который поднимал бы дух бойцов. Николай I все милостивейше запрещает это. Чрезвычайно огорченный этой неудачей, Толстой полученные на журнал из дому деньги с треском проигрывает в карты, еще и еще раз доказывая этим себе, близким и «всему миру», – он так и пишет, – что он «пустяшный малый». Он мечтает, как только кончится война, поступить в военную академию: мечты о мирной жизни в Ясной уже основательно забыты. В письме к тетюшке в Ясную он так мотивирует свое решение: «Мне пришло это в голову, во-первых, потому, что я не хочу бросать литературы, которой невозможно заниматься в условиях походной жизни; во-вторых, потому, что я, кажется, становлюсь честолюбив, то есть не честолюбив, я хочу приносить пользу, а для этого надо быть чем-нибудь больше, чем подпоручик; а в-третьих, потому, что я вас всех увижу и также всех своих друзей». И чрез несколько дней и этот план был забыт основательно раз и навсегда. В самом деле, какая там военная академия, когда в дневнике от 2, 3, 4 марта 1855 года мы встречаем такую замечательную запись: «Разговор о божественном и вере навел меня

на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно к соединению людей с религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня». Путаная запись эта показывает, что молодому философу самому мысль эта была не очень ясна, а его заключение, что эта мысль, «надеюсь, увлечет меня», и вовсе вызывает улыбку, но тем не менее запись эта весьма характерна: не маленьким ли ручейком начинается Волга?

Но до основания новой религии подпоручику артиллерии было еще очень далеко, – пока он, в минуты боевого затишья, усердно делает свои первые литературные шаги: пишет «Отрочество», пишет «Юность», «Рубку леса», «Севастопольские рассказы» и, конечно, попадает сразу в благотельную опеку цензуры, которая производит в его трудах невероятные опустошения и не только вычеркивает неудобные ей места, но и поправляет написанное и даже вписывает в его текст всякую казенно-патриотическую отсебятину. А. С. Пушкин назвал цензуру «дурой» – на трудах Толстого она доблестно старается оправдать этот эпитет, выжженный поэтом на ее бесстыдном лбу. Об этих безобразиях ее в первых произведениях Толстого Н. А. Некрасов, как он пишет, не может думать «без тоски и бешенства». Но даже и в этом изуродованном виде произведения молодого писателя вызывают всеобщий интерес: Александр II, сменивший своего обанкротившегося самодура-отца, прочитав «Севастополь в декабре», приказывает перевести этот рассказ на французский язык и убрать молодого автора с 4-го бастиона в безопасное место. Молодая царица, читая «Севастопольские рассказы», плачет. Уже знаменитый А. Ф. Писемский²² угрюмо пророчествует, что «этот офицеришка всех нас закроет, хоть бросай перо...» А Н. А. Некрасов пишет автору: «вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко...» Симфония необыкновенной жизни этой ширится, растет, и все слышнее и слышнее вдали гремят звонкие трубы триумфального марша... Толстой пьянеет от шири жизни, от ее горячих радостей, от сознания растущей в нем силы. Этот «ездок, весельчак и силач» резко выделяется из всех. Он остер, весь брызжет весельем, в полном смысле душа батареи. «Толстой с нами – и мы не видим конца общему веселью, нет графа, укатил в Симфе ропошь, и все носы повесили... – рассказывает один из его сослуживцев. – Пропадает день, другой, третий... Наконец, возвращается, ну, точь-в-точь, блудный сын: мрачный, исхудалый, недовольный собой. Отведет меня в сторону, подальше и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него, так убивается... Одним словом, странный и, говоря правду, для меня не совсем понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно...». И он смело восставал против всякой несправедливости, открыто негодовал против узаконенного обычая командиров присваивать себе деньги, которые они экономили на хозяйственной части, т. е. на содержании солдат. И в компании своих боевых товарищей, среди крови, пожаров и бесчисленных убийств, за бутылкой вина, у рояля общими усилиями они сочиняют дерзкие песни, в которых ярко вспыхивает дух обычного русского бунтарства и полного неуважения к благотельному начальству. Вот одна такая песенка, составленная если не исключительно Толстым, то, во всяком случае, при его деятельном участии:

Как восьмого сентября,

²² Алексей Феофилакторович Писемский (1821–1881), автор романов «Тысяча душ», «Люди сороковых годов».

Мы за веру, за царя
От француз ушли.
Князь Лександра адмирал,
Суденышки затоплял,
В море – пучине.
Молвил: счастья желаю!
Сам ушел к Бахчисараю, —
Ну вас всех в...!

И т. д.

Если сравнить бравурно-патриотические мысли о Севастополе, выраженные Толстым в письме к его брату, с мыслями и чувствами, вдохновившими на это стихотворение, невольно задумаешься, как многолика бывает истина и как трудно человеку найти ее в вихрях жизни...

VI

Севастополь пал. Огромные жертвы народа бездарное правительство свело на нет. Толстой в ноябре 1855 едет в Петербург курьером. Несмотря на то, что новому писателю было всего 27 лет, писательские круги встречают его как своего, и всячески ухаживают за ним, и льстят ему.

Потом Толстой рассказывал, что в период от двадцати до тридцати пяти лет на него наибольшее впечатление произвели следующие книги: Гёте, «Герман и Доротея» – очень большое, Тютчев, стихотворения – большое, Кольцов, стихотворения – большое, Фет, стихотворения – большое, Платон, «Федон» и «Пир» – очень большое, «Одиссея» и «Илиада», на русском языке – очень большое. Кроме того, большое влияние на него имели еще два писателя, которых он сам зовет своими учителями: Стендаль и Руссо. Вот в каких выражениях говорит он о них профессору Полю Буайе²³ в 1901 г.:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Словарь музыки“. Я более чем восхищался им, – я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо натального креста. Многие его страницы так близки мне, что мне кажется, я их написал сам. Что касается Стендаля, то я буду говорить о нем только как об авторе „Chartreuse de Parme“²⁴ и «Rouge et noir».²⁵ Это два великие, неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в «Chartreuse de Parme» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такую, т. е. такую, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и ничего не понимающего? И как гусары с легкостью перекидывают его через круп лошади, его прекрасной генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. «Все это прикрасы, – говорил он мне, – а в войне нет прикрас». Вскоре после этого мне в Крыму уже легко было видеть все это своими глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля...»

Несмотря на это, им самим признаваемое, духовное родство с целым рядом писателей, Толстой все же был вполне самобытной, очень яркой и бунтарской натурой даже в молодые годы. Ему сразу стало тесно и душно в тех партийных перегородочках, которыми петербургские редакции старательно отгораживались одна от другой, и столкновения с этими маленькими церковками у него следовали одно за другим без передышки. «Кутежи, карты, цыгане целые ночи напролет, – жаловался Тургенев, у которого он одно время жил, – а затем до двух часов спит, как убитый». А встанет, проспавшись, – полная непочтительность к кружковым божкам. И мало того: чем в кружке божок бесспорнее, тем больше щетинится «офицеришка», тем больше и ярче его оппозиция всему, в этих кружках принятому.

«Я... видел его однажды у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу, – рассказывает Фет в своих воспоминаниях, – и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

– Я не могу признать, – говорил Толстой, – чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблей в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не вой-

²³ Поль Буайе (1864–1949), французский публицист, преподаватель русского языка.

²⁴ «Пармская обитель» (франц.).

²⁵ «Красное и черное» (франц.).

дет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.

– Зачем же вы ходите к нам? – задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет, говорил Тургенев. – Здесь не ваше знамя. Ступайте к княгине Б. Б.

– Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить? И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения...»

И простодушный Фет прибавляет: «полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания».

И отчуждение нарастает. Тургенев, по словам Григоровича, пищит с глазами умирающей газели, что он «больше не может», Некрасов боится упустить и того, и другого для своего «Современника», все гости взволнованы и не знают, что говорить, а Толстой лежит в средней комнате на диване и дуется. Григорович успокаивает его, уверяя, как его любит Тургенев.

– Я не позволю ему ничего делать мне на зло! – с раздувающимися ноздрями говорит Толстой. – Это вот теперь он нарочно ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками...

В другой раз он поехал с Григоровичем на обед в редакцию «Современника». Дорогой Григорович предупредил его, что там не следует касаться некоторых вопросов, а в особенности воздерживаться от нападок на Жорж Санд, которую он терпеть не мог, тогда как в редакции пред ней преклонялись. В течение всего обеда Толстой держался, но под конец, услышав похвалу какому-то новому роману этой писательницы, вспылil и сказал, что, если бы ее героини существовали в действительности, то их надо бы было привязать, ради назидания, к позорной колеснице и возить по петербургским улицам...

«Толстой не верил в искренность людей, – говорил потом Тургенев. – Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно пронизательным взглядом пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит». Тургенев утверждал, что никогда в жизни он не переживал ничего более тяжелого, как этот испытующий взгляд, который в соединении с двумя-тремя ядовитыми словами был способен привести в бешенство всякого. Особенно приставал Толстой именно к Тургеневу. Он как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека, работающего с уверенностью, что делает полезное дело. Но Толстой ни во что не верил, и ему казалось, что все эти добряки только притворяются добрыми и что они напускают на себя уверенность в пользе того, что они делают. Тургенев понимал ясно, как относится к нему Толстой, но хотел выдержать характер. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал от него в Москву, а потом в деревню, но Толстой всюду следовал за ним, как – по его словам – «влюбленная женщина».

Много лет спустя в своей «Исповеди» Толстой так рассказывал об этой среде, о своих товарищах по литературной работе и о самом себе:

«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распушенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы – художники, поэты. Наше призвание – учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить, – в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я – художник, поэт, – писал, учил, сам не зная чему. Мне

за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии в развитии жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы – самые хорошие и полезные учителя, мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы – настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между ними людей и не заботящихся о том, кто прав, кто неправ, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, – но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны собой люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта – обман.

Но странно то, что, хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми, – от чина художника, поэта, учителя – я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок – до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему».

Мне кажется, что излишняя схематизация своего прошлого несколько исказила действительность, а следовательно, и те выводы, которые сделал этот беспокойный ум из наблюдения этой действительности. В самом деле, едва ли много найдем мы писателей, которые думали бы об учительстве, – огромное большинство их смотрят на свое дело, как – по выражению Герцена – на «промысел». Впоследствии, когда мне пришлось часто беседовать с Толстым в тишине милой Ясной Поляны, он более точно устанавливал подлинные мотивы деятельности писателя: деньги, во-первых, и слава, то есть возможность получать еще больше денег, во-вторых. Но есть в горьких строках его «Исповеди» все же правда, которая могла бы несколько освежить общественную атмосферу, если бы только она была людьми услышана. Общими, часто бессознательными, усилиями писателей культурному обществу привит, и крепко, культ писателя: Толстой едва ли не первый пустил в эту душную кумирню²⁶ струю сквозняка. Но даже и Толстой не смог сделать тут ничего: божки остались на своих пьедестальчиках, и по-прежнему курит пред ними толпа свои фимиамы и, несмотря на все эти «сенсационные разоблачения» – в них недостатка не было и помимо Толстого, – продолжает видеть в них каких-то чуть ли не помазанников Божиих...

Но вся эта горечь – плод позднейших лет. А в то время Толстой наслаждался в полной мере своими молодыми победами и, как мы видели, сразу стал держать себя, как «власть имеющий». В конце 1856 г., чтобы развязать себе руки для новой, открывшейся ему деятельности, он вышел в отставку. И до того по-прежнему, больше прежнего был упоен жизнью и собой, что почти не заметил тяжелой болезни и смерти своего брата Дмитрия.

Кончив университет, молодой Дмитрий тоже пошел жизнью особенными, толстовскими путями, не как все. «Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части, – расска-

²⁶ Храм, жрище, капище или требище (Вл. И. Даль).

зывает Толстой. – Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург». Он ходил там по разным чиновникам в нанковом пальто – под пальто ничего не было: костюм был излишен – и все допытывался у них, где и как мог бы он быть полезен. Чиновникам такой «постанов вопроса», как говорят крестьяне, был, конечно, чрезвычайно удивителен: о пользе Отечества они думали мало. Митенька, разочаровавшись, уехал в деревню, и Толстой потерял его из вида настолько, что даже не мог потом вспомнить, чем он там занимался. Он охотно сходил с монахами, странниками и всякими оригиналами, которых так много на Руси, и жил, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин. И – вдруг его прорвало: он стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Но даже и в этой жизни этот высокий, сутулый человек со спокойными, прекрасными глазами вел как-то свою линию: ту женщину, проститутку, которую он узнал первой, он выкупил из публичного дома и стал открыто жить с ней. Но вскоре он заболел чахоткой, и тут только Толстой увидался с ним. Он был ужасен. Лицо – одни глаза, те же прекрасные, серьезные глаза. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел верить, что умирает. Рябая Маша, которую он выкупил из публичного дома, повязанная платочком, робко ухаживала за ним. Все это потом Толстой воскресил и снова тяжело пережил в «Анне Карениной», в сценах болезни и смерти брата Левина, но тогда, в молодости, он был так полон собой, что как-то даже не заметил этого ухода брата. «Я был особенно отвратителен в эту пору... – рассказывает он. – ... Мне было жалко Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней. Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.